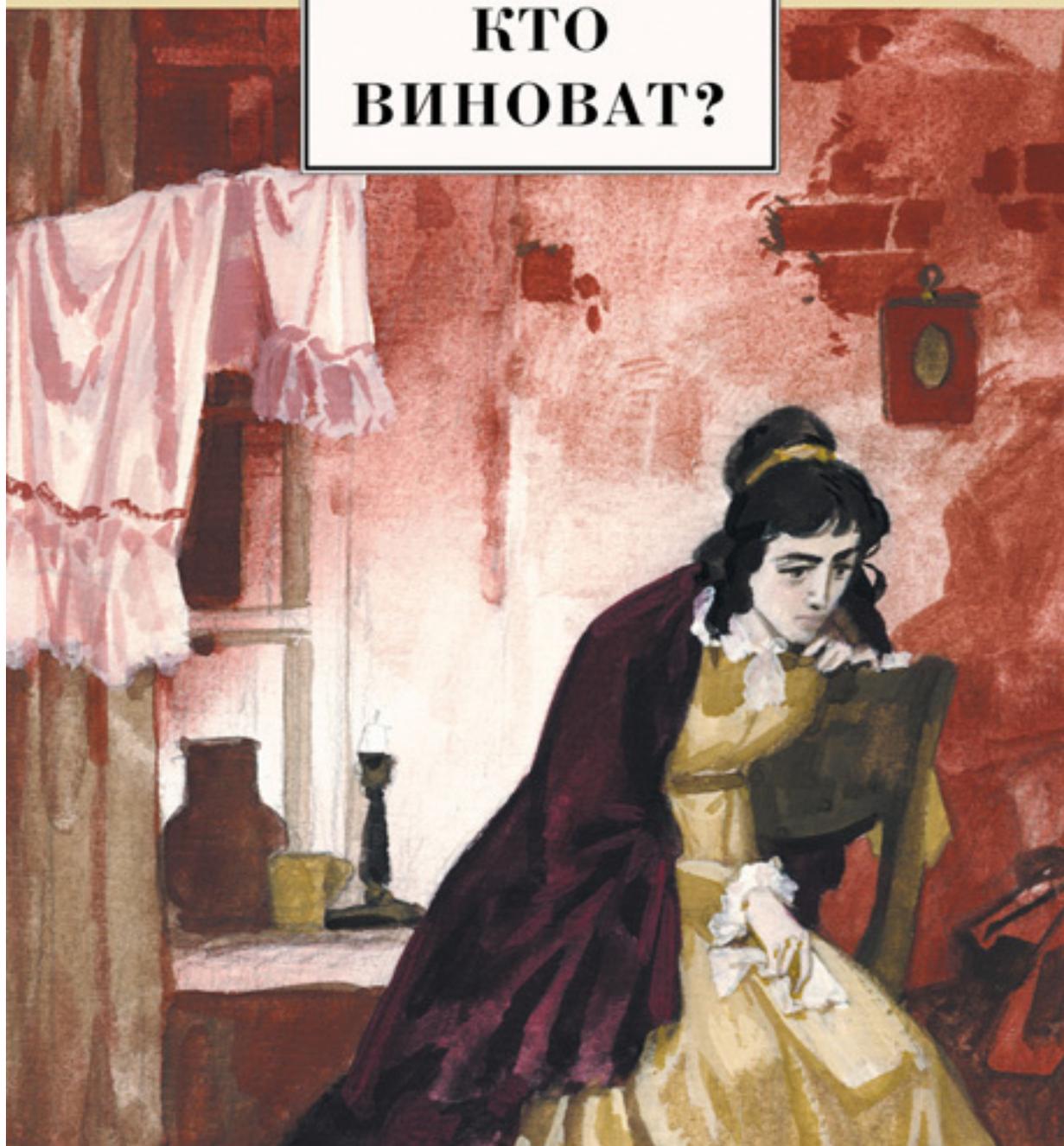


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



А.И.Герцен
**КТО
ВИНОВАТ?**



Школьная библиотека (Детская литература)

Александр Герцен
Кто виноват? (сборник)

Издательство «Детская литература»

1846, 1848

УДК 882-93-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Герцен А. И.

Кто виноват? (сборник) / А. И. Герцен — Издательство
«Детская литература», 1846, 1848 — (Школьная
библиотека (Детская литература))

ISBN 5-08-003997-3

В книгу выдающегося писателя и публициста середины XIX века
включены роман «Кто виноват?» и повесть «Сорока-воровка».

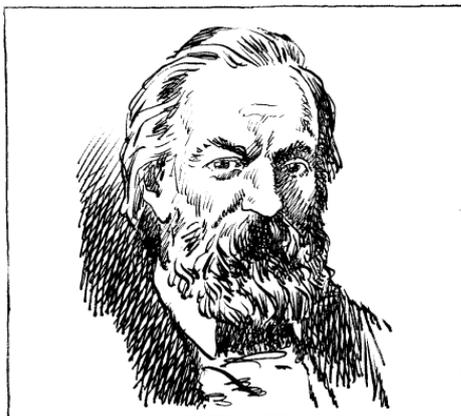
УДК 882-93-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 5-08-003997-3

© Герцен А. И., 1846, 1848
© Издательство «Детская
литература», 1846, 1848

Содержание

Духовные скитания А. И. Герцена	6
Кто виноват?	24
Часть первая	26
I. Отставной генерал и учитель, определяющийся к месту	26
II. Биография их превосходительства	30
III. Биография Дмитрия Яковлевича	37
IV. Житье-бытье	42
Конец ознакомительного фрагмента.	46



1812—1870

Александр Иванович Герцен Кто виноват?

© Издательство «Детская литература». Оформление серии, 2001

© Ю. В. Лебедев. Вступительная статья, комментарии, 2001

© В. Панов. Рисунки, 2001

* * *

Духовные скитания А. И. Герцена

«Тридцать лет тому назад, – писал А. И. Герцен в 1856 году, – Россия *будущего* существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства...» Эти «мальчики» принадлежали к славному поколению, которое вошло в летописи отечественной истории с именем «люди сороковых годов». «Что же коснулось этих людей, чье дыхание пересоздало их? Ни мысли, ни заботы о своем общественном положении, о своей личной выгоде, об обеспечении; вся жизнь, все усилия устремлены к общему без всяких личных выгод; одни забывают свое богатство, другие – свою бедность и идут, не останавливаясь, к разрешению теоретических вопросов. Интерес истины, интерес науки, интерес искусства, гуманизм – поглощает все...

Где, в каком углу современного Запада найдете вы таких отшельников мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у которых седеют волосы, а стремления вечно юны?» И со знанием дела Герцен отвечал: «В современной Европе нет юности и нет юношей». «Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? – вторил Герцену Ф. М. Достоевский. – Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это... все те же вопросы, только с другого конца».

Именно «люди сороковых годов» впервые вырастили и бросили в почву зерна самобытной русской мысли, которые позже дали всходы, определившие на многие годы неповторимый облик русской интеллигенции. «Все, что впоследствии развилось и вышло наружу, – утверждал Герцен, – все, около чего группируются явления и лица, – все зародилось тогда, за дружеским столом юношей да отроков». Трагедия восстания 14 декабря 1825 года поставила перед ними ряд трудных вопросов. В стихотворении «14 декабря 1825 года» Ф. И. Тютчев неспроста назвал декабристов «жертвами мысли *безрассудной*»; их освободительный порыв не опирался на глубокое знание России:

Вас развратило Самовластье,
И меч его вас поразил...

Тютчев полагал, что без серьезного национального самопознания любое политическое действие, от кого бы оно ни исходило, обернется на практике «вероломством», насилием над жизнью, самовластием и деспотизмом. Прежде чем действовать в русской истории, нужно эту историю понять. Поэтому поколение «людей сороковых годов» ушло из политики в напряженную умственную работу: вопрос «кто виноват?» был для него ключевым, общество нуждалось в правильном диагнозе той болезни, которая привела его к трагедии 14 декабря. Нужно было решить вопрос о путях развития России: могут ли они быть простым повторением путей Западной Европы или Россия имеет свою особенную историческую судьбу?

В решении этого вопроса русская общественность 1840-х годов размежевалась на два течения – западников и славянофилов. Западники считали Петра Великого «революционером на русском троне» и были убеждены, что Россия и далее должна идти европейским путем. Славянофилы же видели в петровских реформах попытку насильственной европеизации и полагали, что в дальнейшем своем развитии Россия должна опираться на собственные силы, на собственные культурно-исторические традиции, вырастающие в ней на духовной почве восточной ветви христианства – Православия.

Находясь в оппозиции к самовластью Николая I и правительственной бюрократии, являясь решительными противниками крепостнических отношений в стране, славянофилы и западники сближались в патриотическом чувстве, в горячей и преданной любви к России и ее народу. «Да, мы были противниками их, – заявлял радикальный западник Герцен, – но противниками очень странными. У нас была *одна* любовь, но *не одинакая*.

У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы – за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как *сердце билось одно*».

Славянофилы любили Россию, как мать, любовью сыновней, любовью-воспоминанием; западники любили ее, как дитя, нуждающееся в заботах и ласке, в духовном наставничестве и руководительстве. Для западников Россия была «младенцем» в сравнении с «передовой» Европой, которую ей предстояло догнать, а, в случае счастливого роста, даже и перегнать. К допетровской России они относились скептически, отказывая ей в праве на традицию и историческое предание. Они начинали отсчет исторического развития страны с преобразований Петра, которого называли «отцом России новой». Но из такого отрицания допетровского исторического наследия западники выводили парадоксальную мысль о великом нашем преимуществе перед Европой. Русский человек, свободный от груза исторических традиций, может оказаться «прогрессивнее» любого европейца в силу своей безоглядности, а значит, и «переимчивости».

«Русский человек так уверен в своей силе и крепости, – писал западник И. С. Тургенев, – что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо – то ему нравится, что разумно – того ему и подавай, а откуда оно идет, – ему все равно». Герцен же говорил, что Европа, подобно евангельскому Никодиму¹, «была слишком богата, чтобы пожертвовать большим имуществом ради какой-то надежды»; русским же людям, как евангельским рыбакам, «не о чем было жалеть, легко было сменить сети на нищенскую суму. Достоинством их была живая душа, способная постигать Слово».

1

Александр Иванович Герцен родился 25 марта (6 апреля по новому стилю) 1812 года в Москве. Его отец, знатный русский барин Иван Алексеевич Яковлев, вернулся в 1811 году из долгих заграничных скитаний с молодой девушкой Генриеттой Луизой Гааг, дочерью бедного немецкого чиновника. Нареченная в доме Яковлева Луизой Ивановной, она стала матерью незаконнорожденного сына Александра, которому отец дал не свою, а придуманную им «говорящую» фамилию Герцен (от немецкого слова «Herz» – сердце). Оказавшись «воспитанником» родного отца, впечатлительный мальчик остро переживал двусмысленность своего положения в «случайном семействе». Рано проснулось в нем аналитическое отношение к окружающему, осознание странностей и противоречий в образе жизни «европеизированной» прослойки русского общества. С одной стороны, православный отец, все «благочестие» которого сводилось к строгому требованию, чтобы «воспитанник» соблюдал посты, не обязательные для самого воспитателя по «слабому состоянию здоровья», с другой стороны, лютеранка мать, берущая порою сына в протестантскую кирху, где мальчик «выучился до артистической степени передразнивать немецких пасторов, их декламацию и пустословие».

¹ Никодим – знаменитый фарисей, член иудейского синедриона, усвоивший учение Христа, но не последовавший за ним в отличие от простых евангельских рыбаков (От Иоанна, гл. 3, § 1—21, гл. 7, § 50—52, гл. 9, § 38—42).

А в итоге – полное недоверие к официальной церковности как в православной, так и в лютеранской ее разновидности.

«Но Евангелие, – вспоминал Герцен, – я читал много и с любовью, по-славянски и в лютеровском переводе. Я читал без всякого руководства, не все понимал, но чувствовал искреннее и глубокое уважение к читаемому. В первой молодости моей я часто увлекался вольтерианизмом, любил иронию и насмешку, но не помню, чтоб когда-нибудь взял Евангелие с холодным чувством, это меня проводило через всю жизнь; во все возрасты, при разных событиях я возвращался к чтению Евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу».

С ранних лет, через общение с матерью, мальчик овладел немецким, а через отца и гувернеров – французским языком. В доме была богатая библиотека из книг французских просветителей XVIII века, в которой можно было рыться свободно. Беспорядочное чтение вызывало массу вопросов, с которыми Герцен обращался к учителю Бюшо, участнику Великой французской революции, и студенту из семинаристов Протопопову, который стал носить ему «мелко переписанные и очень затертые тетрадки стихов Пушкина «Ода на свободу», «Кинжал», «Думы» Рылеева». Герцен все это переписывал и заучивал наизусть.

Детские годы мальчика были овеяны воспоминаниями близких о грозе 1812 года, о нашествии французов и пожаре Москвы. Все это воспитывало кровную любовь Герцена к древней русской столице. «Москва, по-видимому сонная и вялая, – писал он в книге «Былое и думы», – просыпается всякий раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза. Она в 1612 году кроваво обвенчалась с Россией и сплывилась с нею огнем 1812... Хмуря брови и надувая губы, ждал Наполеон ключей Москвы у Драгомиловской заставы, нетерпеливо играя мундштуком и теребя перчатку. Он не привык один входить в чужие города.

Но не пошла Москва моя, —

как говорит Пушкин, – а зажгла самое себя».

Толчком, во многом определившим направление мыслей и чувств Герцена, явились события 14 декабря 1825 года. «Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открылся новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души».

Начало юности Герцена ознаменовано дружбой с сыном дальнего родственника Яковлевых Николаем Огаревым. Добрый, мечтательный, мягкий, готовый на любое самопожертвование, Огарев удачно дополнял живую, энергичную натуру Герцена. Дружья виделись часто, вместе читали Шиллера, мечтали о гражданских подвигах, гуляли по Москве. В одну из таких прогулок на Воробьевых горах, когда садилось солнце, блестели купола и город простирался далеко под горой, друзья постояли, прижавшись друг к другу, и вдруг, обнявшись, присягнули в виду всей Москвы пожертвовать жизнью на избранную ими борьбу.

В 1829 году Герцен поступает на физико-математическое отделение Московского университета. Здесь он переживает страстное увлечение идеями французских социалистов-утопистов, воспринимая их учение как начало рождения новой религии европейского человечества, идущей на смену устаревшим формам христианства. Сен-Симон, Фурье и их ученики возвестили, как казалось Герцену, «новую веру, им было что сказать и во имя чего позвать перед свой суд старый порядок вещей... С одной стороны, *освобождение женщины*, призвание ее на общий труд, отдавание ее судеб в ее руки, союз с нею, как с равным. С другой

– оправдание, *искупление плоти*... Религия жизни шла на смену религии смерти, религия красоты – на смену религии бичевания и худобы от поста и молитвы... Новый мир толкался в дверь, наши сердца растворялись ему. Сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном».

Восприятие социализма как новой эпохи в жизни европейского человечества было характерно тогда не только для Герцена. Через искушение «новым христианством» прошли многие русские писатели – Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский... Салтыков-Щедрин вспоминал, что в годы юности он «инстинктивно прилепился к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное – все шло оттуда». Достоевский утверждал, что «зарождающийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего сообразно веку и цивилизации. В социализме, вслед за книгой Сен-Симона «Новое христианство», видели «новое откровение», продолжение и развитие основных нравственных заповедей Иисуса Христа.

В письме к Огареву в августе 1833 года Герцен пишет: «Все люди равны», – говорит Христос. «Любите друг друга, помогайте друг другу» – вот необъятное основание, на котором зиждется христианство. Но люди не поняли его. Его первая фаза была мистическая (католицизм)... Вторая фаза – переход от мистицизма к философии (Лютер). Ныне же начинается третья, *истинная, человеческая, фаланстерская* (может быть, сен-симонизм??)».

Социалисты-утописты видели бедствие современной цивилизации в вопиющем социальном неравенстве, а выход искали на путях нравственного перевоспитания господствующего сословия в духе христианских заповедей. Недостатком исторического христианства они считали пассивное отношение к общественному злу и хотели придать христианскому нравственному учению активный, действенный характер. Усвоение христианских заповедей заставит богатых поделиться с бедными частью своих богатств, восторжествует равенство и братство, и мир вступит в новую фазу социальной гармонии, рай спустится с небес на землю и наступит обетованное Царство Божие не в загробном, потустороннем мире, а на грешной земле. При этом социалисты отрицали всю мистическую сторону религии и не признавали главный догмат христианства – грехопадение человека и помраченность его природы первородным грехом. Они считали, напротив, что человек добр по своей природе, а зло заключается в социальном устройстве общества, искаженном общественным неравенством.

Казалось, что час гибели этого общества близок. Революционные взрывы, периодически потрясающие Европу, воспринимались социалистами как симптомы агонии старого мира, его неминуемого распада, в процессе которого наступит Царство Божие на земле. Современную эпоху Герцен сравнивал с эпохой Древнего Рима времен упадка, когда на смену язычеству античной цивилизации шла цивилизация христианская в лице ее первоучеников. «В наше время, – писал он в своем дневнике, – социализм и коммунизм находятся совершенно в том же положении; они – предтечи нового мира общественного, в них рассеянно существуют частицы будущей великой формулы, но ни в одном опыте нет полного лозунга». Сен-Симон, Фурье и другие ранние социалисты готовят пути к грядущему Мессии. «Без всякого сомнения, – продолжает Герцен, – у сен-симонистов и у фурьеристов высказаны величайшие пророчества будущего, но *чего-то* недостает. У Фурье убийственная прозаичность, жалкие мелочи и подробности, поставленные на колоссальном основании; счастье, что ученики его задвинули его сочинения своими. У сен-симонистов ученики погубили учителя».

Размышляя над тем, как придать «новой религии» действенный характер, Герцен приходит к мысли, что «доселе с народом можно говорить только через Священное Писание,

и, надобно заметить, – социальная сторона христианства всего менее развита; Евангелие должно взойти в жизнь, оно должно дать ту индивидуальность, которая готова на братство».

Революция 1830 года во Франции, волнения 1830–1831 годов в Польше с воодушевлением и трепетом принимаются в кругу Герцена и Огарева как признаки приближающегося коренного обновления старого мира. Их неудачи наводят на грустные размышления: «Скептический, не дошедший до формулирования своей мысли XIX век не имел ничего готового. Демократия была бессистемная, социализм – едва родившийся. С первых дней революции провидишь, чья победа: робкая, трусливая, корыстолюбивая и переменчивая буржуазия завладеет всем...» Но хочется верить, что эти срывы недолговечны: Европа, в особенности Франция, будет продолжать раз начатое дело социального обновления.

А Россия? В пору ли ей мечтать о мировой миссии, когда вокруг господствует николаевский самовластный режим и крепостное право! Взглянешь вокруг – сердце холодеет от ужаса. «Бедный, бедный русский мужик... Глядя на их жизнь, кажется чем-то чудовищно преступным жить в роскоши...» А разве лучше крестьянского оказывается положение мыслящего, думающего человека в условиях российского беззакония?

В 1833 году Герцен оканчивает университет со степенью кандидата и серебряной медалью, а через год он, Огарев и ряд других лиц их круга попадают в тюрьму. Причина их ареста – нестандартный образ жизни странных молодых людей, нигде не служащих, о чем-то постоянно толкующих, а повод – вечеринка, на которой распевалась песня антиправительственного содержания и был разбит бюст императора. Дознание устанавливает, что песню сочинил знакомый Огарева, а с Огаревым дружен Герцен. И хотя ни тот ни другой на вечеринке не были, косвенных улик относительно их образа мыслей достаточно. Фабрикуется дело о «несостоявшемся, вследствие ареста, заговоре молодых людей, преданных учению сенсимонизма». Огарев попадает в тюрьму первым. Незадолго до своего ареста Герцен встречается с родственницей, Наталией Александровной Захарьиной, девушкой очень религиозной и давно тайно любившей его. Узнав об аресте, о тяжелых условиях содержания, Наталия Александровна советует безропотно переносить испытания по примеру Христа и апостола Павла.

Попав в тюрьму, Герцен начинает с этой девушкой переписку. «Кто живет в Боге, того сковать нельзя», – подбадривает она своего друга. В тюрьме Герцен проводит девять месяцев, после чего заключенным «прочли, как дурную шутку, приговор к смерти, а затем объявили, что, движимый столь характерной для него, непозволительной добротой, император повелел применить лишь меру исправительную, в форме ссылки». Сперва Герцена отправили в Пермь, а через три недели – в Вятку с зачислением на службу канцеляристом у губернатора Тюфяева, типичного самодура администратора николаевских времен.

Спасло Герцена распоряжение министра внутренних дел об учреждении в России губернских статистических комитетов. На такую «неслыханную» службу пришлось пригласить «ученого кандидата», который, пользуясь случаем, выхлопотал разрешение работать на дому. Занятия статистикой дали возможность Герцену глубоко изучить народную жизнь, а также расстаться с многими романтическими иллюзиями, столь свойственными студенческой юности.

В 1837 году Вятку посещает наследник русского престола, путешествующий по России в сопровождении В. А. Жуковского и К. И. Арсеньева. Тюфяеву приказано к его приезду устроить выставку естественных богатств края, расположив экспонаты «по трем царствам природы». Герцен организует эту выставку и дает объяснения наследнику. Удивленные эрудицией молодого чиновника, Жуковский и Арсеньев проявляют к нему живой интерес, узнают его историю и обещают ходатайствовать перед императором о его возвращении из ссылки. Полным успехом это ходатайство не увенчалось, но Герцена перевели из Вятки во Владимир. Как раз к этому времени вышло правительственное постановление об открытии

во всех губерниях «Губернских ведомостей» с приложением к ним так называемого «неофициального отдела». Владимирский губернатор Корнилов предложил Герцену заведование этим отделом. Для сбора материала пришлось много ездить по губернии, знакомиться с народным бытом, публиковать целый ряд статей экономического и этнографического содержания.

Весной 1838 года Герцен тайно наезжает в Москву и увозит Наталию Александровну Захарьину во Владимир, где 9 мая венчается с нею. В июле того же года с Герцена снимают полицейский надзор. Он посещает Москву, знакомится с В. Г. Белинским, М. А. Бакуниным, Т. Н. Грановским. Под влиянием новых друзей он начинает усиленное изучение философии Гегеля, которое приводит его к радикальным выводам. «Философия Гегеля – алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя». Чтение книги Фейербаха «Сущность христианства» довершает процесс перехода Герцена с религиозно-мистических на атеистические позиции: «Мне не суждено было подняться на третье небо, я родился совершенно земным человеком... Дневной свет мысли мне роднее лунного освещения».

После двухмесячного пребывания в Москве, в мае 1840 года, Герцен переезжает в Петербург на службу в канцелярию Министерства внутренних дел. Он сближается в столице с К. И. Арсеньевым, В. Ф. Одоевским, И. И. Панаевым. Под влиянием Герцена Белинский преодолевает «примирение с действительностью», связанное с неверным толкованием знаменитого тезиса Гегеля: «все действительное разумно, все разумное действительно». Не все, что существует, является действительным. Крепостное право, полицейский бюрократический режим – это, по Герцену, явления «призрачной» действительности, начисто лишённые всякой разумности.

В конце 1840 года эта действительность вновь предъявляет Герцену свои права. В Петербурге будочник убил прохожего. История эта облетела весь город и стала притчей во языцех: о ней говорили вслух как об одной из главных петербургских новостей. В письме к отцу Герцен сообщил о ней. Письмо перлюстрировали, нашли его содержание крамольным и назначили Герцену новую ссылку в Вятку. Лишь ходатайство влиятельных родственников и знакомых привело к замене Вятки на Новгород с одновременным повышением по службе. В Новгороде Герцен был определен на должность советника губернского правления. Там он заведовал делами о злоупотреблениях помещичьей властью, о раскольниках и о лицах, состоящих под надзором полиции, к числу которых принадлежал и он сам. Призрачная действительность и впрямь оказалась лишенной разума. Служба не приносила Герцену никакого удовлетворения. В 1842 году, благодаря хлопотам друзей, он добился наконец отставки, переехал в Москву, где и прожил до 1847 года последний, и самый счастливый, период своей жизни в России. Это было время напряженной духовной работы, когда в спорах между западниками и славянофилами оттачивалась самобытная русская мысль.

2

Известно, что истины немецкого идеализма русская молодежь осваивала с упорством, доходящим до самозабвения: с бою брался каждый параграф гегелевского учения. Но уход в отвлеченное мышление не мог не повлечь за собой отрицательных последствий: умозрительность, слабое знакомство с практической стороной окружающей действительности, отрыв «чистого» мышления от национальных корней, чрезмерное развитие интеллекта и логического мышления в ущерб другим сторонам природы человека.

«Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью, – писал Герцен. – Во всем этом была своего рода наивность, потому что все это было

совершенно искренно. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая с ним в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении».

Вспоминая о своих встречах с Белинским в 1843 году, Тургенев писал: «Мы еще верили тогда в действительность и важность философских и метафизических выводов, хотя ни он, ни я, мы нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто, на немецкий манер... Мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления». «Исключительно умозрительное направление, – вторил Тургеневу Герцен, – совершенно противоположно русскому характеру, и мы скоро увидим, как *русский дух* переработал Гегелево учение и как *наша* живая натура, несмотря на все пострижения в философские монахи, берет свое».

В циклах статей «Дилетантизм в науке» (1843) и «Письма об изучении природы» (1845) Герцен дает бой всяческого рода романтическим отвлеченностям, логическому формализму, идеалистическому умозрению, летящему поверх реальной действительности. Он посещает в это время университетские лекции по естественным наукам и пытается соединить в своей философии естествознание, диалектику Гегеля и французский социализм. «Только то умозрение не будет пустым идеализмом, которое основано на опыте», – утверждает он.

Герцен пытается придать человеческой мысли живой, действенный характер. Он обличает дилетантов-формалистов в философии, которые, «так или сяк поднявшись в сферу всеобщего», «не чувствуют потребности выхода в жизнь – действительного осуществления идеи». Для Герцена именно в «деянии» происходит существенная реализация личности. «В разумном, нравственно свободном и страстно энергическом деянии человек достигает действительности своей личности и увековечивает себя в мире событий». В «Письмах об изучении природы» Герцен настаивает на ликвидации «временного антагонизма» между естественными науками и философией. «Философия, не опертая на частных науках, на эмпирии, – призрак, метафизика, идеализм».

Параллельно с отрицанием философского умозрения и идеализма Герцен начинает решительную борьбу с романтизмом в литературном творчестве. «Употребление микроскопа, – пишет он, – надобно ввести в нравственный мир, надобно рассмотреть нить за нитью паутину ежедневных отношений, которая опутывает самые сильные характеры, самые огненные энергии». Крикливую трагедию с кинжалами и кровью заметит каждый, но человек забывает, что не менее ужасны те будничные драмы, которые стали «бытовым явлением». «Когда я хожу по улицам, особенно поздно вечером, когда все тихо, мрачно и только кое-где светится ночник, тухнувшая лампа, догорающая свеча, – на меня находит ужас: за каждой стеной мне мерещится драма...»

Самое трудное для понимания надо искать не за тридевять земель, а у себя под ногами, возле нас. Это наша частная жизнь, наши практические отношения к другим людям. Наш век считает себя критическим и аналитическим, мы важно разбираем исторические и другие общие вопросы, шарим по верхам и дозволяем у ног своих расти «самой грубой, самой нелепой непосредственности». Герцен призывает писателя обратить внимание на эту жизнь, состоящую из «мерцания едва уловимых частных форм». Именно в этом мимоидущем мире, а не вне его таится нечто непреходящее, вечное. В каждой былинке несущегося вихря «те же мотивы, те же силы, как в землетрясениях и переворотках, и буря в стакане воды, над которой столько смеялись, вовсе не так далека от бури на море, как кажется».

«Каждый человек есть вселенная, которая с ним родилась и с ним умирает», – любил повторять Герцен слова Г. Гейне, которые в начале 1840-х годов уже подтверждались художественной практикой. В романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтов показал, что

«история души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление».

В 1845 году Герцен возвращается к реализации замысла романа «Кто виноват?», задуманного еще в период новгородской ссылки, а также пишет ряд повестей, среди которых выделяется «Сорока-воровка». Большую роль, как побудительный мотив, сыграли в сюжетах этих повестей напряженные и живые диалоги Герцена со своими единомышленниками-западниками и особенно со славянофилами. Эти споры возникли давно, однако теперь они, достигнув высшей точки, завершились разрывом. И тут произошло неожиданное: раскол западников и славянофилов на пределе обострения противоречий между ними, по законам диалектики, породил тенденцию к «снятию» этих противоречий. И внутри славянофильства, и внутри западничества возникает некоторое брожение и намечается поляризация.

После разрыва с западниками в 1845 году славянофилы – братья Аксаковы, Хомяков, братья Киреевские и Самарин – окончательно размежевались с идеологами «официальной народности» – Погодиным и Шевыревым. В «Обзрении современного состояния литературы» И. В. Киреевский показывает нелепость нигилистического взгляда Шевырева на европейское образование и даже подвергает сомнению исключительное преобладание в западноевропейской жизни принципа эгоизма. Отчуждение от Европы, к которому стремятся сторонники «официальной народности», он считает ничем не обоснованным и не сулящим России ничего, кроме бед: «Любовь к образованности европейской, равно как и любовь к нашей, – обе совпадают в последней точке своего развития в одну любовь, в одно стремление к живому, полному, всечеловечному и истинно христианскому просвещению».

Вместе с тем и внутри западнического лагеря обнаруживается назревший раскол на умеренно-либеральное и радикальное, революционно-демократическое течения. Разногласия возникли по социальному вопросу. Герцен изучает в это время историю России, быт народа, склад его психической жизни. Его интересует, какая сила сохранила многие прекрасные качества русского крестьянина, несмотря на татарское иго, немецкую муштру и отечественный кнут. «Это сила Православия, – говорили славянофилы, – лишь из нее исходит, как производное, соборный дух народа, внешним выражением которого является его общинный быт. Образованная прослойка общества оторвалась от народа в «петербургский период» отечественной истории. Необходимо возвращение к народу и слияние с ним, с его святынями. Русский народ в повседневном общинном быте своем уже решил ту задачу, которую Запад поставил лишь в мысли».

Герцен, ратующий за новую «религию», не соглашался с предпосылками, из которых исходили славянофилы. Но их взгляды на особенности экономического быта народа были им усвоены и стали зерном его будущей теории русского социализма. Поэтому Герцен не понимал и не разделял той непримиримой вражды, которую питал к славянофилам Белинский и его друзья: «Белинский пишет: «Я жид по натуре и с филистимлянами за одним столом есть не могу»; он страдает и за свои страдания хочет ненавидеть и ругать филистимлян, которые вовсе не виноваты в его страданиях. Филистимляне для него славянофилы; я сам не согласен с ними, но Белинский не хочет понять истину в ворохе их нелепостей. Он не понимает славянский мир; он смотрит на него с отчаянием, и не прав, он не умеет *чаять жизни будущего века*. <...> Странное положение мое: перед славянофилами я человек Запада, перед их врагами – человек Востока. Из этого следует, что для нашего времени эти односторонние определения не годятся» – такую запись делает Герцен в дневнике на 17 мая 1844 года.

Ясно, какие мысли Герцен вкладывает в заключительные слова из «Символа веры» христианина. «*Жизнь будущего века*» для Герцена – торжество социализма. Он связывает учение славянофилов о крестьянской общине с идеями западноевропейского социализма,

полагая, что Россия может миновать капиталистический фазис развития. Грановский решительно не соглашается с Герценом, считая социалистические учения сомнительными. По той же причине он не разделяет отрицательного отношения Герцена к европейской буржуазии. А Белинский? По-видимому, он сильно колеблется в этом вопросе между Грановским и Герценом.

С другой стороны, Грановского возмущает атеистический уклон в мировоззрении Герцена: «...Я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа, с ней исчезает бессмертие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо». Религиозные взгляды славянофилов не вызывали у Грановского отторжения. И именно на этом основании он одобрял терпимость Герцена к славянофилам и не понимал озлобленности на их счет Белинского.

Наконец возникла еще одна точка сближения в истории этой дружбы-вражды. Летние месяцы 1845–1846 годов приятели Герцена проводили время в дружеских беседах в подмосковной усадьбе Герцена Соколово. Однажды, во время прогулки по окрестностям, молодые господа остановились на кромке хлебного поля перед крестьянками, которые, не обращая на них внимания, жали рожь в открытых сарафанах. Кто-то (вероятно, Боткин) пренебрежительно заметил, что только русская баба, закосневшая в невежестве, ни перед кем не стыдится, а потому и перед ней не стыдится никто. Грановский вспыхнул весь и сказал горячо: «Факт этот позорен не для русской женщины, а для тех, кто относится к ней цинически. Большой грех лежит и на нашей литературе, которая распространяет презрительный взгляд на народность». Грановского искренне поддержал Герцен, заявив, что призвание русского просвещенного человека заключается в том, чтобы быть адвокатом народа.

В романе «Кто виноват?» и в повести «Сорока-воровка» Герцен создает яркие образы женщин, вышедших из народа: Софьи Бельтовой, Любви Круциферской, крепостной актрисы. Причем, в отличие от крайних западников и ортодоксальных славянофилов, Герцен подчеркивает в народных характерах не убогость и невежество, не христианское смирение и кротость, а способность отстаивать на каждом шагу свою честь и достоинство, не сгибаться перед властью обстоятельств, находить выход в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Этот диалог с западниками на одном полюсе и славянофилами на другом Герцен вынесет в самое начало повести «Сорока-воровка», а художественным образом крепостной актрисы утверждает правоту своей точки зрения на ведущие, ключевые качества русского национального характера. Словом и делом Герцен подталкивал русскую литературу на тот путь, по которому она пошла начиная с «Записок охотника» Тургенева. Герцен одним из первых оценил важность и значимость поднимаемых славянофилами тем. Так получилось, что литературное свое воплощение они получили впервые в творчестве западников.

3

Еще в статье «По поводу одной драмы» (1842) Герцен дал ключ к определению своеобразия своего художественного таланта и к центральной проблематике романа «Кто виноват?». «Отличительная черта нашей эпохи, – сказал он, – есть раздумье. Мы не хотим шага сделать, не выразумив его, мы беспрестанно останавливаемся, как Гамлет, и думаем, думаем... Некогда действовать; мы переживаем беспрерывно прошедшее и настоящее, все случившееся с нами и с другими, – ищем оправданий, объяснений, доискиваемся мысли, истины». Герцен связывал это состояние с особенностями своего времени и называл его «болезнью переходных эпох».

По-видимому, Белинский взял на вооружение эти мысли Герцена, когда в статье «Русская литература в 1845 году» дал определение специфики литературного дара писателя. Герцен, по словам Белинского, «как-то чудно умел довести ум до поэзии, мысль обратить в

живые лица, плоды своей наблюдательности – в действие, исполненное драматического движения... Если это не случайный опыт, не неожиданная удача в чуждом автору роде литературы, а залог целого ряда таких произведений в будущем, мы смело можем поздравить публику с приобретением необыкновенного таланта в совершенно новом роде».

В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», сравнивая роман «Кто виноват?» с «Обыкновенной историей» Гончарова, Белинский развил эти наблюдения. Если Гончаров силен художественным изображением, живыми образными картинками, поскольку ум у него ушел в талант, то у Герцена преимущество заключается в мысли: у него талант ушел в ум. Для него «важен не предмет, а смысл предмета», и его «вдохновение вспыхивает только для того, чтобы через верное представление предмета сделать в глазах всех очевидным и осязаемым смысл его». Иначе, чем в классическом романе, организуется у Герцена и художественное единство произведения. Внешне роман рассыпается на ряд биографий, а единство между ними держится не на фабуле, а на внутренней связи: оно организуется «мыслью, которая глубоко легла в их основание, дала жизнь и душу каждой черте, каждому слову рассказа». «О чем бы автор ни говорил, чем бы он ни увлекся в отступлении, он никогда не забывает ее, беспрестанно возвращается к ней». Какая же это мысль? Это «мысль о достоинстве человеческого, которое унижается предрассудками, невежеством и унижается то несправедливостью человека к своему ближнему, то собственным добровольным искажением самого себя».

В то же время это и мысль об исчерпанности старых форм жизни, которые сделались мертвыми, формальными, окостенелыми, которые душат все живое, не дают жизни развернуться во всю ширь и мощь, которые подавляют естественные человеческие движения, сдерживают благородные порывы, загоняют внутрь рвущиеся на волю человеческие страсти. Вот главный герой романа Бельтов наблюдает из окна гостиницы жизнь провинциального городка. На дворе оттепель, которая похожа на весну, но не весна. «Будто чувствовалось, что вот-вот и природа оживет из-под льда и снега, но это так чувствовалось новичку, который суетно надеялся в первых числах февраля видеть весну в NN; улица, видно, знала, что опять пойдут морозы и вьюги». И потому над всем городом нависла мертвящая тишина. «Вдруг из переулка раздалась лихая русская песня, и через минуту трое бурлаков <...> с тою удалью в лице, которую мы все знаем, вышли обнявшись на улицу». Но показался из будки почтенный блюститель тишины, погрозил молодцам пальцем – и вновь водворилась тишина, мертвая, тяжелая. «Бельтов поглядел – и ему сделалось страшно, его давило чугунной плитой, ему явным образом не доставало воздуха для дыхания». Общее состояние сдавленности живых сил Герцен схватывает и в пейзаже, и в истории с бурлаками, и в самочувствии Бельтова.

В центре внимания писателя драма переходной эпохи, когда дверь в иную жизнь, более широкую и свободную, как будто и приотворена, но пройти нельзя. Бельтов и Круциферская сидят на скамье в городском саду перед объяснением в любви друг к другу, которое сыграет трагическую роль в их судьбе. Теплый апрельский день, но «пришедший, вероятно, для того, чтоб жители потом поняли весь холод мая». С крутой горы открывается широкая панорама на разлив реки. Герои молчат и «слушают даль». А там, вдали, протяжная и бесконечная песня бурлака. И кажется, «что этой песнью бедняк рвется из душной сферы в иную; что он, не давая себе отчета, оглашает свою печаль; что его душа звучит, потому что ей грустно, потому что ей тесно...».

В двух разных эпизодах романа сквозит одна и та же художественно оформленная мысль. Чувствуешь, как велики потенциальные силы русской жизни, и грустишь оттого, как они подавлены. В каждом герое автор дает почувствовать эти подавленные возможности, даже в Негрове, помещике-крепостнике. Старые формы жизни умирают, а новые еще только нарождаются. Кто виноват? «Виновных тут нет в том смысле, в котором хотят виноватых, как сознательных преступников; есть одна вина, за которую их нельзя отдать под суд, но которая была причиною всех бедствий, причиною скрытой, неизвестной им», – скажет Гер-

цен в статье «По поводу одной драмы». Эта причина лежит в самом характере переходной эпохи. Отсюда и эпиграф к роману – «А случай сей за неоткрытием виновных предать воле Божией, дело же, почислив решенным, сдать в архив».

В романе подспудно ощутимо могучее дыхание русской истории, нарастание катаклизма, очистительной грозы. Просыпается человеческая личность, нестандартно, вопреки ожиданиям, складываются многие человеческие судьбы, решаются многие конфликты. Достаточно указать на историю Дмитрия Круциферского и Любы Негровой. Автор специально подчеркивает в романе, что бы ожидало этих людей в другой, типичной для прошлого ситуации. Но старая жизнь дала трещину, и открылся ход «случайностям», знаменующим веяния новых времен.

В романе широко представлены отживающие формы жизни, все еще активные в своем самодовольстве и самодостаточности: «мещанское прозябание», «гнусное общественное устройство», «мертвый бюрократизм», «позорное крепостничество». Целая коллекция типических фигур, представителей «почтенного общества», сливается «в одно фантастическое лицо – лицо какого-то колоссального чиновника». В этой официальной России живая жизнь подменяется лишь видимостью ее, пустой формой без человеческого содержания. Таков образ мертвенной бюрократической машины, в которой жизнь подминается механическим движением бумаг по многочисленным канцелярским столам, где никто «отроду не переходил мысленно от делопроизводства на бумаге к действительному существованию обстоятельств и лиц» и где никто не задумывался, что могут быть люди, «которые пойдут по миру прежде, нежели воротится справка из Красноярска». Такова имитация выборного начала в дворянском кругу, являющаяся пародией на самоуправление. «Мечты о гражданской деятельности», которыми одержим Бельтов, решительно отторгаются призрачной действительностью, в которой форма убила содержание. Знаменательно, что Бельтов приезжает служить по выборам из Швейцарии – страны, где он был свидетелем широкого применения избирательного права. Там крестьяне, разбившись на две партии, сознательно и серьезно готовятся к кантональным выборам. Бельтов с завистью смотрит на этих людей, занятых настоящим и живым общим делом. А его учитель Жозеф говорит швейцарским ученикам, что в России выборов нет.

Высоко оценивая роман, Белинский не обратил внимание на «заветную идею» автора, ради которой он был написан, на историю трагической любви Бельтова и Круциферской. Он заявил, что эта история – наиболее слабая часть романа. Ему показалось, что характер Бельтова неудачен, что во второй части он произвольно изменен автором. Сперва это был человек, жаждавший полезной деятельности и ни в чем не находивший ее по причине ложного воспитания, которое дал ему благородный женеvский мечтатель. Потом, во второй части, Бельтов вдруг явился какой-то высшей, гениальной личностью, для деятельности которой русская жизнь не представляет достойного поприща. Было бы логичней автору усилить критическое отношение к своему герою. Ведь его натура испорчена, по Белинскому, не только воспитанием, но и богатством.

Начавший в своей критике традицию снижения образа «лишнего» человека, подхваченную потом и доведенную до логического конца Н. А. Добролюбовым, Белинский не заметил одной очень характерной особенности в художественной организации романа. Цельный образ человека в нем рождается путем художественных сцеплений противоречивых, порой как бы исключаящих друг друга характеристик. И та грань в характере Бельтова, связанная с его дворянским происхождением, на которую указал Белинский, присутствует в романе, но ею не исчерпывается вся глубина личности героя. В споре с Бельтовым доктор Крупов говорит: «...Вам жизнь надоела от праздности, – ничего не делать, должно быть, очень скучно; вы, как все богатые люди, не привыкли к труду. Дай вам судьба определенное занятие да отними она у вас Белое Поле, вы бы стали работать, положим, для себя, из хлеба, а польза-

то вышла бы для других...» Не отрицая известной правоты в суждении язвительного доктора, Бельтов резонно замечает, что, кроме голода, есть еще и другие, гораздо более сильные, духовные побуждения к труду. «Уж, конечно, я не по охоте избрал жизнь праздную и утомительную для меня. Ученым специалистом я не родился, так, как не родился музыкантом; *а остальные дороги, кажется, для меня не родились...*» О каких дорогах идет здесь речь?

В романе недвусмысленно говорится о том призвании, к которому был предрасположен Бельтов: «Ничто в мире не заманчиво так для пламенной природы, как участие в текущих делах, в этой воочию совершающейся истории; кто допустил в свою грудь мечты о такой деятельности, тот испортил себя для всех других областей». Разве можно, как это сделал Белинский, обвинять Бельтова в том, что он со своими широкими гражданскими запросами отказался от роли колесика и винтика той бюрократической машины, целостный образ которой представлен в романе Герцена? Ясно, что причина бездействия Бельтова заключена не столько в его воспитании, сколько в том, что русская жизнь не могла удовлетворить его желаний. Когда Круциферская спрашивает Бельтова, почему его «прекрасные силы и стремления не находят выхода и разъедают грудь», герой отвечает: «Дело в том, что силы сами по себе развиваются, готовятся, а потребности на них определяются историей... Зандобились Франции полководцы – и пошли Дюмурье, Гош, Наполеон со своими маршалами... конца нет; пришли времена мирные – и о военных способностях ни слуху ни духу».

В статье «О развитии революционных идей в России», написанной уже в эмиграции, Герцен так объяснил причину появления русского национального типа «лишнего» человека: «...Все мы в большей или меньшей степени Онегины, если только не предназначены быть *чиновниками* или *помещиками*. Цивилизация нас губит, сбивает с пути... Нам дают широкое образование, нам прививают желания, стремления, страдания современного мира, а потом кричат: «Оставайтесь рабами, немymi и пассивными, иначе вы погибли». <...> Таким-то образом и становятся Онегинами, если только не погибают... в казематах какой-нибудь крепости».

Трагический узел романа затягивается в отношениях Бельтова с семейством Круциферских. Герцен поставил и художественно разрешил глубоко волновавшую его тогда проблему семьи и брака с точки зрения «нового христианства» – той «религии», которая, по его мнению, должна была прийти на смену старой. Герцен показывает всю несостоятельность романтизма, всю непрочность идеализма в любви и семье. Круциферский – очередной тип романтика в русской литературе, младший брат Владимира Ленского. Он свято верит «в действительность мира, воспетого Жуковским, и в идеалы, витающие над землей». «Мечтательность, романтизм, платоническая любовь, – скажет Герцен в статье «По поводу одной драмы», – все это в наше время очень хорошо при переходе из отрочества в юношество. Душа моется, расправляет крылья в этом фантастическом мире, в этом упоительном полумраке. Но остаться навек мечтательно вздыхающим безнадежно *по ней*, стремящимся и возносящимся, не видя, что под ногами делается, что над головою гремит?..»

Не случайно Дмитрий Круциферский в постоянной тревоге: он предчувствует надвигающуюся на его уютный семейный мирок катастрофу. По мнению Герцена, судьба всего исключительно личного, не выступающего из себя, незавидна: «...чем более человек сосредоточивается на частном, тем более голых сторон он представляет ударам случайности. Пенять не на кого; личность человека не замкнута; она имеет широкие ворота для выхода. Вся вина людей, живущих в одних сердечных, семейных и частных интересах, в том, что они не знают этих ворот...» Семья – слишком тесная клетка для человека, она не в силах удовлетворить всех его потребностей. Оставаясь неутоленными, они бунтуют, кипят и, рано или поздно, взорвут эту клетку и вырвутся на волю.

Нельзя замкнуть весь смысл жизни и на одно чувство любви. «Любовь – пышный, изящный цветок, венчающий и оканчивающий индивидуальную жизнь; но он, как все цветы,

должен быть раскрыт одною стороною, лучшей стороною своею к небу – всеобщему... Монополию любви надобно подорвать вместе с прочими монополиями... Скажем прямо: человек не для того только существует, чтоб *любить*; неужели *вся* цель мужчины – обладание такою-то женщиною, *вся* цель женщины – обладание таким-то мужчиною? – Никогда! Как неестественна такая жизнь, всего лучше доказывают герои почти всех романов».

Брак Дмитрия Круциферского с Любонькой трагически обречен, потому что их семейная жизнь обособилась от жизни всеобщей: «Они так мало делали требований на внешнее, так много были довольны собою, так проникались взаимной симпатией, что их трудно было не принять за иностранцев» в провинциальном городке. Конечно, в замкнутом образе жизни, который ведут Круциферские, виновата отчасти бездуховная атмосфера городка. Но разве от этого оправдания героям легче? Не случайно Любовь Круциферская записывает в своем дневнике: «Мне сегодня пришло в голову, что самоотверженнейшая любовь – высочайший эгоизм... что кротость – страшная гордость, скрытая жесткость...» Вскоре жизнь подтвердит правоту этих слов. «Вот они, мои предчувствия!» – думает Круциферский. И он рвал волосы на голове, кусал губы, и вдруг в его душе, мягкой и нежной, открылась страшная возможность злобы, ненависти, зависти и потребность отомстить...»

Каково содержание любви Круциферской к Бельтову? Какие неудовлетворенные в семейной жизни с Дмитрием желания утоляет эта любовь? Круциферская пишет в своем дневнике: «Отчего у Дмитрия нет этой потребности добиваться до истины, мучиться мыслию? Я, бывало, обращаюсь к нему с тяжелым вопросом, с сомнением, а он меня успокаивает, утешает, хочет убаюкать, как делают с детьми... а мне совсем не того хотелось бы... он и себя убаюкивает теми же детскими верованиями, а я не могу». Ясно, что Круциферской хочется выйти за границы узкого семейного круга в сферу более широких общественных интересов.

Герцен-социалист убежден: основной источник современных семейных драм заключается в противоестественной замкнутости жизненных интересов женщины. Будущее царство социализма смягчит любовный драматизм выходом человека в общую жизнь. Женщина приобщится к общим интересам, она не будет так односторонне привязана к семейству. У людей будущего любовь не поглотит собою гражданственности, искусства, науки. Люди внесут все одушевление, весь пламень любви и в эти широкие области, и, наоборот, широту и грандиозность этих миров они внесут в свою любовь. Люди будущего раскроют свою душу всему человеческому, научатся страдать и наслаждаться страданиями и наслаждениями современности, работать столько же для других, сколько и для себя. «Они разовьют свое эгоистическое сердце во всескорбящее». И тогда любовная страсть потеряет свою дикую, судорожную сторону. По мере расширения человеческих интересов уменьшится сосредоточенность каждого на своей личности и смягчится в роде человеческого ядовитая жгучесть страстей.

Роман Герцена «Кто виноват?» в подтексте своем устремлен к такому преобразению. Но оно маячит перед героями как утренняя заря, оттеняющая узкой полосой на востоке темный ночной небосвод. «Поймут ли, оценят ли грядущие поколения весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования, – написал Герцен в своем дневнике, работая над романом «Кто виноват?», – а между тем наши страдания – почка, из которой разовьется их счастье». Роман заканчивается трагически: спивается задавленный горем Дмитрий Яковлевич, потухает в неизлечимой болезни Любовь Александровна, уезжает за границу Владимир Бельтов – «лишний» человек, так и не пустивший корней в русскую почву.

В финале романа есть момент автобиографический. Сам Герцен чувствовал, что в современной России настоящего дела для него нет. Это приводило его порою в отчаяние. Характерная запись в дневнике: «Спорили, спорили и, как всегда, кончили ничем, холодными речами и остротами. Наше состояние безвыходно, потому что ложно, потому что исто-

рическая логика указывает, что мы *вне народных потребностей*, и наше дело – отчаянное страдание».

4

У русских западников складывалось свое, утопическое представление о Европе. Не был лишен его тогда и автор романа «Кто виноват?». Он писал впоследствии: «Мы верим в Европу, как христиане в рай... Нам дома скверно. Глаза постоянно обращены на дверь запертую – и которая открывается понемногу и изредка. Ехать за границу – мечта каждого порядочного человека. Мы стремимся видеть, осязать мир, знакомый нам изучением, которого великолепный и величавый фасад, сложившийся веками, с малолетства поражал нас... Мы любили и уважали этот мир заочно, мы входим в него с некоторым смущением, мы с уважением попираем почву, на которой совершалась великая борьба независимости и человеческих прав.

Сначала все кажется хорошо, и притом как мы ожидали; потом мало-помалу мы начинаем что-то не узнавать, на что-то сердиться – нам недостает пространства, шири, воздуха, нам просто неловко...

Дело в том, что мы являемся в Европу со своим собственным идеалом и с верой в него. Мы знаем Европу книжно, литературно, по ее праздничной одежде, по очищенным, перегнанным отвлеченностям, по всплывшим и отстоявшимся мыслям, по вопросам, занимающим верхние слои жизни, по исключительным событиям, в которых она не похожа на себя. Все это вместе составляет светлую четверть европейской жизни. Жизнь темных трех четвертей не видна издали, вблизи она постоянно перед глазами.

Во-вторых, и тот слой, который нам знаком, с которым мы входим в соприкосновение, мы знаем исторически, несовременно. Проживши год, другой в Европе, мы с удивлением видим, что вообще западные люди не соответствуют нашему понятию о них, что они *гораздо ниже* его... У нас умственное развитие служит чистилищем и порукой. Исключения редки. Образование у нас до последнего времени составляло предел, который много гнусного и порочного не переходило.

На Западе это не так... Мы не берем в расчет, что половина речей, от которых бьется наше сердце и подымается наша грудь, сделались для Европы трюизмами, фразами; мы забываем, сколько других испорченных страстей, страстей искусственных, старческих, напутано в душе современного человека, принадлежащего этой выжившей цивилизации. Он с малых лет бежит в обгонки, источен домогательством, болен завистью, самолюбием, недосыгаемым эпикуреизмом, мелким эгоизмом, перед которым падает всякое отношение, всякое чувство, – ему нужна роль, позы на сцене, ему нужно во что бы то ни стало удержать место, удовлетворить своим страстям... Наше *классическое* незнание западного человека наделает много бед...»

В середине студеной снежной зимы 1847 года Герцен получил наконец заграничный паспорт и отправился вместе с семьей в Западную Европу. Поначалу, конечно, и он почувствовал радость освобождения, счастливую возможность дышать полной грудью. Предгрозовой общественный климат Европы в преддверии революционной бури 1848 года утолял дремавшие в России гражданские страсти Герцена. Он едет в Италию, где началось национально-освободительное движение. Весть о февральской революции во Франции и о провозглашении там Второй республики увлекает Герцена в Париж. «Новые силы пробудились в душе, старые надежды воскресли, какая-то мужественная готовность на все взяла верх». Казалось, вот она, вожделенная минута возвращения Царства Божия на землю. Сбывались лучшие мечты юности и молодости.

Но тут настали роковые июньские дни. Восстание парижских рабочих было потоплено в крови изменившей идеалам социализма буржуазией. «Вечером 26 июня мы услышали, после победы «Националя» над Парижем, правильные залпы, с небольшими расстановками... Мы взглянули друг на друга, у всех лица были зеленые... «Ведь это расстреливают», – сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга». Все было кончено. Во избежание ареста Герцену пришлось срочно уезжать из Парижа в Женеву. Наступившая в Европе реакция заставила Герцена с удивлением обнаружить, что западноевропейский режим ничуть не лучше, а, может быть, и хуже русского самодержавия.

«Было время, когда, близ Уральских гор, я создавал себе о Европе фантастическое представление; я верил в Европу и особенно во Францию. Я воспользовался первой же минутой свободы, чтобы приехать в Париж.

То было еще до февральской революции. Я разглядел вещи несколько ближе и покраснел за свои представления. Теперь я раздражен несправедливостью бесчувственных публицистов, которые признают существование царизма только под 59-м градусом северной широты. С какой стати эти две мерки? Поносите сколько вам вздумается и осыпайте упреками петербургское самодержавие и постоянную нашу безропотность; но поносите всюду и умеете распознавать деспотизм, в какой бы он форме ни проявлялся: носит ли он название президента республики, Временного правительства или Национального собрания...

Оптический обман, при помощи которого рабству придавали видимость свободы, рассеялся, маски спали... Мы видим теперь, что все существующие правительства – это вариации одной и той же старой темы... Европа с каждым днем становится все более похожей на Петербург».

Обострение европейской реакции сопровождалось страшными ударами в семейной жизни Герцена: 16 ноября 1851 года в кораблекрушении погибают мать и младший сын Коля, а 2 мая 1852 года умирает после мучительной семейной драмы жена Герцена – Наталия Александровна. «Все рухнуло – общее и частное, европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастье». Герцену кажется теперь, что он находится на краю «нравственной гибели». Последние европейские события отняли у него всякую надежду и веру. Наступает период глубокого духовного кризиса, отразившегося в книге «С того берега».

Прежде всего это разочарование в перспективах европейской цивилизации и в человеке, рожденном ею. Мещанство – вот ее итог. «Под влиянием мещанства все переменялось в Европе. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью, изящные нравы – нравами чинными, вежливость – чопорностью, гордость – обидчивостью, парки – огородами, дворцы – гостиницами, открытыми для *всех* (то есть для всех, имеющих деньги)... Вся нравственность свелась на то, что неимущий должен всеми средствами приобретать, а имущий – хранить и увеличивать собственность... Жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось в меняльные лавочки и рынки – редакции журналов, избирательные собрания, камеры...» Во имя собственности и ее торжества люди погасили духовные светильники. «Из протестантизма они сделали свою религию – религию, примирявшую совесть христианина с занятием ростовщика, – религию до того мещанскую, что народ, ливший кровь за нее, ее оставил».

Спала маска и с европейской демократии. «Все партии и оттенки мало-помалу разделились в мире мещанском на два главных стана: с одной стороны, мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой – неимущие мещане, которые хотят вырвать из их рук их достояние, но не имеют силы, то есть с одной стороны *скупость*, с другой – *зависть*. Так как действительно нравственного начала во всем этом нет, то и место лица в той или другой стороне определяется внешними условиями состояния, общественного положения. Одна волна оппозиции за другой достигает победы, то есть собственности или места, и естественно переходит со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничто не может быть лучше, как бесплодная качка парламентских пре-

ний, – она дает движение и пределы, дает *вид дела* и форму общих интересов для достижения своих личных целей... Парламентское правление... самое колоссальное беличье колесо в мире. Можно ли величественнее стоять на одном и том же месте, придавая себе вид торжественного марша, как оба английские парламента?»

Мещанство Герцен считает качеством не одного только сословия предпринимателей. Он видит, что это болезнь всего европейского общества. Суть мещанства состоит в оскудении идеалов, в подчинении всех духовных сил человека низменным эгоистическим интересам. За мещанством проглядывает страшный образ «князя мира сего». А потому и сам европейский социализм, если он когда-нибудь все-таки восторжествует, не спасет человечество от мещанства. Этот социализм уничтожит экономическое неравенство, изменит к лучшему внешнюю жизнь людей, но не отразится на внутренней сущности человека. «Равномерная сытость» не является надежным противоядием от духовного мещанства.

Расставшись в молодости с «религией небесной», с христианскими упованиями, Герцен берет на себя смелость подвергнуть еще более строгому суду и «религию земную», основанную на вере в исторический прогресс, ведущий к торжеству «мировой гармонии». «Объясните мне, пожалуйста, – говорит доктор в книге «С того берега», – отчего верить в Бога смешно, а верить в человечество не смешно; верить в Царство Небесное – глупо, а верить в земную утопию – умно? Отбросивши положительную религию, мы остались при всех религиозных привычках и, утратив рай на небе, верим в пришествие рая земного и хвастаемся этим».

Если прогресс – цель, то для кого мы работаем? Кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, вместо награды пятится и, в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые ему кричат: «Обреченные смерти приветствуют тебя!», только и умеет ответить горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле. Неужели и вы обрекаете современных людей на жалкую участь кариатид, поддерживающих террасу, на которой когда-нибудь другие будут танцевать... или на то, чтоб быть несчастными работниками, которые по колено в грязи тащат барку с таинственным руном и с смиренной надписью «*прогресс* в будущем» на флаге. Утомленные падают на дороге, другие с свежими силами принимаются за веревки, а дороги, как вы сами сказали, остается столько же, как при начале, потому что прогресс бесконечен».

Так Герцен доводит атеистический гуманизм до логического конца и обнаруживает там противоречия неразрешимые, приводящие в отчаяние. «Я уже не жду ничего, ничто, после всего виденного и испытанного мною, не удивит и не обрадует глубоко. <...> Почти все стало мне безразлично, и я равно не желаю ни завтра умереть, ни очень долго жить». Мыслитель, провозгласивший человека мерою всех вещей, теперь понял всю шаткость этой «меры». Герцен дошел до пограничного рубежа атеизма и позитивизма, вплотную подошел к религиозному мироощущению, но шага вперед не сделал.

На это указал ему другой русский европеец, Владимир Печерин, который, после долгих скитаний в поисках земного европейского рая, к 1850 году стал католическим монахом и, познакомившись с идеями «русского социализма» Герцена, написал ему следующее: «Что будет с нами, когда *ваше* образование одержит победу? Для вас *наука* – все, альфа и омега. Не та обширная наука, которая обнимает все способности человека, видимое и невидимое, наука – так, как ее понимал мир до сих пор, но наука ограниченная, узкая, наука материальная, которая разбирает и рассекает вещество и ничего не знает, кроме его. Химия, механика, технология, пар, электричество, великая наука пить и есть, поклонение личности... Если *эта* наука восторжествует, горе нам! <...> Как некогда христиан влекли на амфитеатры, чтобы отдать их на посмеяние толпы, жадной до зрелищ, так повлекут и нас, людей молчания и молитвы, на публичные торжища и там спросят: «Зачем вы бежите от нашего общества? Вы должны участвовать в нашей материальной жизни, в нашей торговле, в нашей удивительной

индустрии. Идите витийствовать на площади, идите проповедовать политическую экономию, обслуживать падение и возвышение курса, идите работать на наши фабрики, направлять пар и электричество. Идите председательствовать на наших пирах, рай здесь на земле – будем есть и пить, ведь завтра мы умрем!» Вот что меня приводит в ужас, ибо где же найти убежище от тиранства материи, которая больше и больше овладевает всем?

Простите, если я сколько-нибудь преувеличил темные краски. Мне кажется, что я только довел до законных последствий основания, положенные вами.

Стоило ли покидать Россию из-за умственного каприза? Россия именно начала с науки, так, как вы ее понимаете, она продолжает наукой. Она в руках своих держит гигантский рычаг материальной мощи, она призывает все таланты на службу себе и на пир своего материального благосостояния, она делается самая образованная страна в мире, провидение ей дало в удел материальный мир, она сделает рай из него для своих избранных, она понимает цивилизацию именно так, как вы ее понимаете. Материальная наука составляла всегда ее силу. Но мы, верующие в бессмертную душу и в будущий мир, какое нам дело в этой цивилизации настоящей минуты?»

Герцен ответил на это письмо упреком иного рода: «И чего же бояться? Неужели шума колес, подвозящих хлеб насущный толпе холодной и полуодетой? Не запрещают же у нас, для того, чтоб не беспокоить лирическую негу, молотить хлеб... Я полагаю, что несправедливо бояться улучшения жизни масс, потому что производство этого улучшения *может* беспокоить слух лиц, не желающих слышать ничего внешнего. Тут даже самоотвержения никто не просит, ни милости, ни жертвы. Если на торгу шумно, не торг перенести следует, а отойти от него».

Герцена спасла от отчаяния вера в свой народ, в крестьянскую общину, в социалистические инстинкты русского мужика, вера в русскую культуру, совершенно свободную, как ему казалось, от духа мещанства, заразившего европейское человечество. «Мне кажется, – писал Герцен в статье «Россия», – что в русской жизни есть нечто более высокое, чем община, и более сильное, чем власть: это «нечто» трудно выразить словами и еще труднее указать на него пальцем. Я говорю о той внутренней, не вполне сознающей себя силе, которая так чудодейственно поддерживала русский народ под игом монгольских орд и немецкой бюрократии, под восточным кнутом татарина и под западной розгой капрала; я говорю о той внутренней силе, при помощи которой русский крестьянин сохранил, несмотря на унижительную дисциплину рабства, открытое и красивое лицо и живой ум и который, на императорский приказ образоваться, ответил через сто лет громадным явлением Пушкина; я говорю, наконец, о той силе, о той вере в себя, которая волнует нашу грудь. Эта сила, независимо от всех внешних событий и вопреки им, сохранила русский народ и поддержала его несокрушимую веру в себя. Для какой цели?... Это-то нам и покажет время».

Герцен предпочел, чтобы эта сила, разгаданная до него славянофилами, оставалась тайной, которую умом не понять, но можно почувствовать сердечным инстинктом. И отныне для Герцена вопрос «кто виноват?» потерял актуальность. Диагноз болезни современного человечества был им поставлен, способы лечения найдены. Кончился период духовных странствий, настало время действия, переезда в Лондон, организации Вольной русской типографии, издания альманаха «Полярная звезда», «Голосов из России», газеты «Колокол». Открылась иная эпоха в жизни и творчестве Герцена – эпоха борьбы за новую Россию, пропаганды идеи «русского социализма», питавшей мировоззрение, по крайней мере, трех поколений русских общественных деятелей.

«Начавши с крика радости при переезде через границу, я кончил моим духовным возвращением на родину. Вера в Россию спасла меня на краю нравственной гибели... За эту живую веру в нее, за это исцеление ею – благодарю мою родину. Увидимся ли, нет ли, но чувство любви к ней приводит меня до могилы».

На родину Герцен не вернулся. Он скончался от воспаления легких 9 (21) января 1870 года. Прах его перевезли в Ниццу и положили рядом с женой. На могильном памятнике Герцен изображен во весь рост, а лицо его обращено на восток, туда, где раскинулась на шестую часть земного шара далекая, но любящая его Россия.

Ю. В. Лебедев

Кто виноват?

Наталье Александровне Герцен в знак глубокой симпатии от писавшего.

Москва, 1846.

«А случай сей за неоткрытием виновных предать воле Божией, дело же, почислив решенным, сдать в архив».

Протокол



«Кто виноват?» была первая повесть, которую я напечатал. Я начал ее во время моей новгородской ссылки (в 1841) и окончил гораздо позже в Москве.

Правда, еще прежде я делал опыты писать что-то вроде повестей; но одна из них не написана², другая – не повесть³. В первое время моего переезда из Вятки в Владимир мне хотелось повестью смягчить укоряющее воспоминание, примириться с собою и забросать цветами один женский образ⁴, чтоб на нем не было видно слез⁵.

Разумеется, что я не сладил с своей задачей, и в моей неоконченной повести было бездна натянутого и, может, две-три порядочные страницы. Один из друзей моих⁶ впоследствии страдал меня, говоря: «Если ты не напишешь новой статьи, – я напечатаю твою повесть, она у меня!» По счастью, он не исполнил своей угрозы.

В конце 1840 были напечатаны в «Отечественных записках» отрывки из «Записок одного молодого человека», – «Город Малинов и малиновцы» нравились многим; что касается до остального, в них заметно сильное влияние гейневских «Reisebilder»⁷.

Зато «Малинов» чуть не навлек мне бед.

Один вятский советник хотел жаловаться министру внутренних дел и просить начальственной защиты, говоря, что лица чиновников в г. Малинове до того похожи на почтенных сослуживцев его, что от этого может пострадать уважение к ним от подчиненных. Один

² ...одна из них не написана. – Неоконченная повесть «Елена» (другой вариант заглавия «Там»), начатая в период вятской ссылки.

³ ...другая – не повесть. – «Записки одного молодого человека», опубликованные в «Отечественных записках» в 1840–1841 годах.

⁴ ...один женский образ, чтоб на нем не было видно слез. – Речь идет о П. П. Медведевой, с которой Герцен был дружен в период вятской ссылки. Об этой дружбе он писал в третьей книге своих мемуаров «Былое и думы».

⁵ «Былое и думы». – «Полярная звезда», III, с. 95–98. (Примеч. А. И. Герцена.)

⁶ Один из друзей моих... – Имеется в виду Н. Х. Кетчер, образ которого выводится в «Былом и думах» (ч. 4, гл. 33).

⁷ «Путевых картин» (нем.).

из моих вятских знакомых спрашивал, какие у него доказательства на то, что малиновцы – *пашквиль* на вятичей. Советник отвечал ему: «Тысячи»; например, *автор* прямо говорит, что у жены директора гимназии бальное платье брусничного цвета, – ну разве не так?» Это дошло до директорши, – та взбесилась, да не на меня, а на советника. «Что он, слеп или из ума шутит? – говорила она. – Где он видел у меня платье брусничного цвета? У меня, действительно, было темное платье, но цвету *пансэ*»⁸. Этот оттенок в колорите сделал мне истинную услугу. Раздосадованный советник бросил дело, – а будь у директорши в самом деле платье брусничного цвета да напиши советник, так в те прекрасные времена брусничный цвет наделал бы мне, наверное, больше вреда, чем брусничный сок Лариных мог повредить Онегину⁹.

Успех «Малинова» заставил меня приняться за «Кто виноват?».

Первую часть повести я привез из Новгорода в Москву. Она не понравилась московским друзьям, и я бросил ее. Несколько лет спустя мнение об ней изменилось, но я и не думал ни печатать, ни продолжать ее. Белинский взял у меня как-то потом рукопись, – и с своей способностью увлекаться он, совсем напротив, переценил повесть в сто раз больше ее достоинства и писал ко мне¹⁰: «Если бы я не ценил в тебе человека, так же много или еще и больше, нежели писателя, я, как Потемкин Фонвизину после представления «Бригадира»¹¹, сказал бы тебе: «Умри, Герцен!» Но Потемкин ошибся, Фонвизин не умер и потому написал «Недоросля». Я не хочу ошибаться и верю, что после «Кто виноват?» ты напишешь такую вещь, которая заставит всех сказать: «*Он прав*, давно бы ему приняться за повесть!» Вот тебе и комплимент, и посильный каламбур».

Цензура сделала разные урезывания и вырезывания, – жаль, что у меня нет ее обрезков. Несколько выражений я вспомнил (они напечатаны курсивом) и даже целую страницу (и то, когда лист был отпечатан, и прибавил его к стр. 38¹²). Это место мне особенно памятно потому, что Белинский выходил из себя за то, что его не пропустили.

И – р

8 июня 1859 г.

*Park-House, Fulham*¹³

⁸ Цвета анютиных глазок, фиолетового (*от фр. pensée*).

⁹ ...*брусничный сок Лариных мог повредить Онегину*. – Герцен имеет в виду слова Онегина из третьей главы пушкинского романа (строфа IV): А, кстати: Ларина проста, Но очень милая старушка; Боюсь, брусничная вода Мне не наделала б вреда.

¹⁰ *Белинский... писал ко мне...* – Далее Герцен дает авторски обработанную цитату из письма Белинского от 6 февраля 1846 года.

¹¹ ...*после представления «Бригадира»*... – Эти слова Потемкина современники Фонвизина относили не к «Бригадиру», а к комедии «Недоросль».

¹² Страницы 70–71 настоящего издания.

¹³ Местность в Лондоне, где жил А. И. Герцен.

Часть первая

I. Отставной генерал и учитель, определяющийся к месту

Дело шло к вечеру, Алексей Абрамович стоял на балконе; он еще не мог прийти в себя после двухчасового послеобеденного сна; глаза его лениво раскрывались, и он время от времени зевал. Вошел слуга с каким-то докладом; но Алексей Абрамович не считал нужным его заметить, а слуга не смел потревожить барина. Так прошло минуты две-три, по окончании которых Алексей Абрамович спросил:

– Что ты?

– Покаместь ваше превосходительство изволили почивать, учителя привезли из Москвы, которого доктор нанял.

– А? (что, собственно, тут следует: вопросительный знак (?) или восклицательный (!) – обстоятельства не решились).

– Я его провел в комнатку, где жил немец, что изволили отпустить.

– А!

– Он просил сказать, когда изволите проснуться.

– Позови его.

И лицо Алексея Абрамовича сделалось доблестнее и величественнее.

Через несколько минут явился казачок и доложил:

– Учитель вошел-с.

Алексей Абрамович помолчал, потом, грозно взглянув на казачка, заметил:

– Что у тебя, у дурака, мука во рту, что ли? Мямлит, ничего не поймешь. – Впрочем, прибавил, не дожидаясь повторения: – Позови учителя, – и тотчас сел.

Молодой человек лет двадцати трех-четыре, жиденький, бледный, с белокурыми волосами и в довольно узком черном фраке, робко и смешавшись, явился на сцену.

– Здравствуй, почтеннейший! – сказал генерал, благосклонно улыбаясь и не вставая с места. – Мой доктор очень хорошо отзывался об вас; я надеюсь, мы будем друг другом довольны. Эй, Васька! (При этом он свистнул.) Что ж ты стула не подаешь? Думаешь, учитель, так и не надо. У-у! Когда вас оболванишь и сделаешь похожими на людей! Прошу покорно. У меня, почтеннейший, сын-с; мальчик добрый, со способностями, хочу его в военную школу приготовить. По-французски он у меня говорит, по-немецки не то чтоб говорил, а понимает. Немчура попался пьяный, не занимался им, да и, признаться, я больше его употреблял по хозяйству, – вот он жил в той комнате, что вам отвели; я прогнал его. Скажу вам откровенно, мне не нужно, чтоб из моего сына вышел магистер или философ; однако, почтеннейший, я хоть и слава Богу, но две тысячи пятьсот рублей платить даром не стану. В наше время, сами знаете, и для военной службы требуют все эти грамматики, арифметики... Эй, Васька, позови Михаила Алексеича!

Молодой человек все это время молчал, краснел, перебирал носовой платок и собиравшись что-то сказать; у него шумело в ушах от прилива крови; он даже не вполне отчетливо понимал слова генерала, но чувствовал, что вся его речь вместе делает ощущение, похожее на то, когда рукою ведешь по моржовой коже против шерсти. По окончании воззвания он сказал:

– Принимая на себя обязанность быть учителем вашего сына, я поступлю, как совесть и честь... разумеется, насколько силы мои... впрочем, я употреблю все старания, чтоб оправдать доверие ваше... вашего превосходительства...

Алексей Абрамович перебил его:

– Мое превосходительство, любезнейший, лишнего не потребует. Главное – уметь заохотить ученика, этак, шутя, понимаете? Ведь вы кончили ученье?

– Как же, я кандидат.

– Это какой-то новый чин?

– Ученая степень.

– А, позвольте, здравствуют ваши родители?

– Живы-с.

– Духовного звания?

– Отец мой уездный лекарь.

– А вы по медицинской части шли?

– По физико-математическому отделению.

– По-латынски знаете?

– Знаю-с.

– Это совершенно ненужный язык; для докторов, конечно, нельзя же при больном говорить, что завтра ноги протянет; а нам зачем? помилуйте...

Не знаем, долго ли бы продолжалась ученая беседа, если б ее не перервал Михайло Алексеевич, то есть Миша, тринадцатилетний мальчик, здоровый, краснощекий, упитанный и загоревший; он был в куртке, из которой умел в несколько месяцев вырасти, и имел вид общий всем дюжинным детям богатых помещиков, живущих в деревне.

– Вот твой новый учитель, – сказал отец.

Миша шаркнул ногой.

– Слушайся его, учись хорошенько; я не жалею денег – твое дело уметь пользоваться.

Учитель встал, учтиво поклонился Мише, взял его за руку и с кротким, добрым видом сказал ему, что он сделает все, что может, чтоб облегчить занятия и заохотить ученика.

– Он уже кой-чему учился, – заметил Алексей Абрамович, – у мадамы, живущей у нас; да поп учил его – он из семинаристов, наш сельский поп. Да вот, милый мой, пожалуйста, поэкзаменируйте его.

Учитель сконфузился, долго думал, что бы спросить, и наконец сказал:

– Скажите мне, какой предмет грамматики?

Миша посмотрел по сторонам, поковырял в носу и сказал:

– Российской грамматики?

– Все равно, вообще.

– Этому мы не учились.

– Что ж с тобой делал поп? – спросил грозно отец.

– Мы, папашенька, учили российскую грамматику до деепричастия и катехизец до таинств.

– Ну поди покажи классную комнату... Позвольте, как вас зовут?

– Дмитрием, – отвечал учитель, покраснев.

– А по батюшке?

– Яковлевым.

– А, Дмитрий Яковлич! Вы не хотите ли с дороги перекусить, выпить водки?

– Я ничего не пью, кроме воды.

«Притворяется!» – подумал Алексей Абрамович, чрезвычайно уставший после продолжительного ученого разговора, и отправился в диванную к жене. Глафира Львовна почивала на мягком турецком диване. Она была в блузе: это ее любимый костюм, потому что все другие теснят ее; пятнадцать лет истинно благополучного замужества пошли ей впрок: она сделалась *Adansonia baobab*¹⁴ между бабами. Тяжелые шаги Алексиса разбудили ее, она

¹⁴ Баобаб – дерево с очень толстым стволом (*лат.*).

подняла заспанную голову, долго не могла прийти в себя и, как будто отроду в первый раз уснула не вовремя, с удивлением воскликнула: «Ах, Боже мой! Ведь я, кажется, уснула? представь себе!» Алексей Абрамович начал ей отдавать отчет о своих трудах на пользу воспитания Миши. Глафира Львовна была всем довольна и, слушая, выпила полграфина квасу. Она всякий день перед чаем кушала квас.

Не все бедствия кончились для Дмитрия Яковлевича аудиенцией у Алексея Абрамовича; он сидел, молчаливый и взволнованный, в классной комнате, когда вошел человек и позвал его к чаю. Доселе наш кандидат никогда не бывал в дамском обществе; он питал к женщинам какое-то инстинктуальное чувство уважения; они были для него окружены каким-то нимбом; видел он их или на бульваре, разряженными и неприступными, или на сцене московского театра, – там все уродливые фигурантки казались ему какими-то феями, богинями. Теперь его поведут представлять к генеральше, да и одна ли она будет? Миша успел ему рассказать, что у него есть сестра, что у них живет мадам да еще какая-то Любонька. Дмитрию Яковлевичу чрезвычайно хотелось узнать, каких лет сестра Миши; он начинал об этом речь раза три, но не смел спросить, боясь, что лицо его вспыхнет. «Что же? пойдете-с!» – сказал Миша, который с дипломатией, общей всем избалованным детям, был чрезвычайно скромен и тих с посторонним. Кандидат, вставая, не надеялся, поднимут ли его ноги; руки у него охолодели и были влажны; он сделал гигантское усилие и вошел, близкий к обмороку, в диванную; в дверях он почтительно раскланялся с горничной, которая выходила, поставив самовар.

– Глаша, – сказал Алексей Абрамович, – рекомендую тебе – новый ментор нашего Миши.

Кандидат кланялся.

– Мне очень приятно, – сказала Глафира Львовна, прищуривая немного глаза и с некоторой ужимкой, когда-то ей удававшейся. – Наш Миша так давно нуждается в хорошем наставнике: мы, право, не знаем, как благодарить Семена Иваныча, что он доставил нам ваше знакомство. Прошу вас быть без церемонии; не угодно ли вам сесть?



– Я все сидел, – пробормотал кандидат, истинно сам не зная, что говорил.

– Не стоя же ехать в кибитке! – сострил генерал.

Это замечание окончательно погубило кандидата; он взял стул, поставил его как-то эксцентрически и чуть не сел возле. Глаз он боялся поднять, как пущего несчастья; может быть, девицы тут в комнате, а если он их увидит, надобно будет поклониться, – как? Да и потом, вероятно, надобно было не садившись поклониться.

– Я тебе говорил, – сказал генерал вполслуха, – красная девка!

– *Le pauvre, il est à plaindre*¹⁵, – заметила Глафира Львовна, кусая жирные губки свои.

Глафире Львовне с первого взгляда понравился молодой человек; на это было много причин: во-первых, Дмитрий Яковлевич с своими большими голубыми глазами был *интересен*; во-вторых, Глафира Львовна, кроме мужа, лакеев, кучеров да старика доктора, редко видала мужчин, особенно молодых, интересных, – а она, как мы после узнаем, любила, по старой памяти, платонические мечтания; в-третьих, женщины в некоторых летах смотрят на юношу с тем непонятно влекущим чувством, с которым обыкновенно мужчины смотрят на девушек. Кажется, будто это чувство близко к состраданию, – чувство материнское, – что им хочется взять под свое покровительство беззащитных, робких, неопытных, их полелеять, поласкать, отогреть; это кажется всего более им самим: мы не так думаем об этом, но не считаем нужным говорить, как думаем... Глафира Львовна сама подвинула чашку чая кандидату; он сильно прихлебнул и обварил язык и нёбо, но скрыл боль с твердостью Муция Сцеволы¹⁶. Это обстоятельство было благотворно для него; сделалось отвлечение, и он немного успокоился. Мало-помалу он начинал даже подымать взоры. На диване сидела Глафира Львовна; перед нею стоял стол, и на столе огромный самовар возвышался, как какой-нибудь памятник в индийском вкусе. Против нее – для того ли, чтоб пользоваться милым *vis-à-vis*¹⁷, или для того, чтоб не видеть его за самоваром, – вдавливал в пол какие-то дедовские кресла Алексей Абрамович; за креслами стояла девочка лет десяти с чрезвычайно глупым видом; она выглядывала из-за отца на учителя: ее-то трепетал храбрый кандидат! Миша находился также за столом; перед ним миска кислого молока и толстый ломоть решетного хлеба. Из-под салфетки, покрывавшей стол и на которой был представлен довольно удачно город Ярославль, оканчивавшийся со всех сторон медведем¹⁸, высовывалась голова легавой собаки; драпри скатерти придавали ей какой-то египетский вид: она неподвижно вперила два жиром заплавленные глаза на кандидата. У окна, на креслах, с чулком в руке, – миньютюрная старушка, с веселым и сморщившимся видом, с повисшими бровями и тоненькими бледными губами. Дмитрий Яковлевич догадался, что это француженка-мадам. У дверей стоял казачок, подававший Алексею Абрамовичу трубку; возле него горничная, в ситцевом платье с холстинными рукавами, ожидавшая с каким-то благоговением, когда господа окончат церемонию питья чая. Еще одно лицо присутствовало в комнате, но его Дмитрий Яковлевич не видал, потому что оно было наклонено к пьальцам. Лицо это принадлежало бедной девушке, которую воспитывал добрый генерал. Разговор долго не клеился, да и когда склеился, был как-то отрывчат, не нужен и утомителен для кандидата.

Странно было это столкновение жизни бедного молодого человека с жизнью семьи богатого помещика. Кажется, эти люди могли бы преспокойно прожить до скончания века не встречаясь. Вышло иначе. Жизнь нежного и доброго юноши, образованного и занимающегося, каким-то диссонансом попала в тучную жизнь Алексея Абрамовича и его супруги, – попала, как птица в клетку. Все для него изменилось, и можно было предвидеть, что такая перемена не пройдет без влияния на молодого человека, совершенно не знавшего практического мира и неопытного.

Но что это за люди такие – генеральская чета, блаженствующая и преуспевающая в счастливом браке, этот юноша, назначенный для выделки Мишиной головы настолько, чтоб мальчик мог вступить в какую-нибудь военную школу?

¹⁵ Бедняжка, он достоин жалости (*фр.*).

¹⁶ ...с твердостью Муция Сцеволы... – Легендарный герой Древнего Рима конца VI – начала V в. до н. э. Желая показать врагам свое бесстрашие, он опустил правую руку в огонь и не издал ни единого звука.

¹⁷ Здесь в смысле – сидящим напротив (*фр.*).

¹⁸ ...оканчивавшийся со всех сторон медведем – то есть гербом города Ярославля с изображением медведя.

Я не умею писать повестей: может быть, именно потому мне кажется вовсе не излишним предварить рассказ некоторыми биографическими сведениями, почерпнутыми из очень верных источников. Разумеется, сначала —

II. Биография их превосходительства

Алексей Абрамович Негр^{ов}, отставной генерал-майор и кавалер, толстый, рослый мужчина, который, после прорезывания зубов, ни разу не был болен, мог служить лучшим и полнейшим опровержением на знаменитую книгу Гуфланда¹⁹ «О продолжении жизни человеческой». Он вел себя диаметрально противоположно каждой странице Гуфланда — и был постоянно здоров и румян. Одно правило гигиены он исполнял только: не расстроивал пищеварения умственными напряжениями и, может быть, этим стяжал право не исполнять всего остального. Строгий, вспыльчивый, жесткий на словах и часто жестокий на деле, нельзя сказать, чтоб он был злой человек от природы; всматриваясь в резкие черты его лица, не совсем уничтожившиеся в мясных дополнениях, в густые черные брови и блестящие глаза, можно было предполагать, что жизнь задавила в нем не одну возможность. Четырнадцати лет, воспитанный природой и француженкой, жившей у его сестры, Негров был записан в кавалерийский полк; получая много денег от нежной родительницы, он лихо проводил свою юность. После кампании 1812 года Негров был произведен в полковники; полковничьи эполеты упали на его плечи тогда, когда они уже были утомлены мундиром; военная служба начала ему надоедать, и он, послужив еще немного и «находя себя не способным продолжать службу по расстроенному здоровью», вышел в отставку и вынес с собою генерал-майорский чин, усы, на которых оставались всегда частицы всех блюд обеда, и мундир для важных okazji. Когда отставной генерал поселился в Москве, которая успела уже обстроиться после пожара, перед ним открылась бесконечная анфилада дней и ночей однообразной, пустой, скучной жизни. Не было занятия, которым бы он умел или хотел заняться. Он ездил из дома в дом, проигрывал в карты, обедал в клубе, являлся в первом ряду кресел в театре, являлся на балах, завел себе две четверки прекрасных лошадей, холил их, учил денно и ночью словами и руками кучера, сам преподавал тайну конной езды фореитору... Так прошло года полтора; наконец кучер выучился сидеть на козлах и держать вожжи, фореитор выучился сидеть на лошади и держать поводья, скука одолела Негрова; он решился ехать в деревню хозяйничать и уверил себя, что эта поездка необходима для предупреждения важного расстройства. Теория его хозяйства была очень несложна: он бранил всякий день приказчика и старосту, ездил за зайцами и ходил с ружьем. Не привыкнув решительно ни к какого рода делам, он не мог сообразить, что надобно делать, занимался мелочами и был доволен. Приказчик и староста были, с своей стороны, довольны барином; о крестьянах не знаю, они молчали. Месяца через два в окнах господского дома показалось прекрасное женское личико, сначала с заплаканными, а потом просто с прелестными голубыми глазками. В то же самое время староста, несколько не занимавшийся устройством деревни, доложил енаралу, что у Емельки Барбаша изба плоха и что не соблаговолит ли Алексей Абрамович явить отеческую милость и дать ему леску. Лес был пункт помешательства Алексея Абрамовича; он себе на гроб не скоро бы решился срубить дерево; но... но тут он был в добром расположении духа и разрешил Барбашу нарубить леса на избу, прибавив старосте: «Да ты смотри у меня, рыжая bestия, за лишнее бревно — ребро». Староста сбегал на заднее крыльцо и доложил Авдотье Емельяновне о полном успехе, называя ее «матушкой и заступницей». Бедняжка краснела до ушей, но в простоте душевной была рада, что у отца ее будет новая изба. Мы находим в источниках

¹⁹ ...полнейшим опровержением на знаменитую книгу Гуфланда «О продолжении жизни человеческой». — Христоф Вильгельм Гуфеланд (1762–1836) — знаменитый немецкий врач, доктор медицины, друг Виланда, Гете и Шиллера. «Искусство продления человеческой жизни» (1796) — наиболее популярный его труд, выдержавший много изданий.

наших мало сведений о завоевании голубых глазок, о встрече с ними. Я полагаю – потому, что эти победы делаются очень просто.

Как бы то ни было, сельская жизнь, в свою очередь, надоела Негрову; он уверил себя, что исправил все недостатки по хозяйству и, что еще важнее, дал такое прочное направление ему, что оно и без него идти может, и снова собрался ехать в Москву. Багаж его увеличился: прелестные голубые глазки, кормилица и грудной ребенок ехали в особой бричке. В Москве их поместили в комнатку окнами на двор. Алексей Абрамович любил малютку, любил Дуню, любил и кормилицу, – это было эротическое время для него! У кормилицы испортилось молоко, ей было беспрестанно тошно, – доктор сказал, что она не может больше кормить. Генерал жалел об ней: «Вот попалась редкая кормилица: и здоровая, и усердная, и такая услужливая, да молоко испортилось... досадно!» Он подарил ей двадцать рублей, отдал повойник и отпустил для излечения к мужу. Доктор советовал заменить кормилицу козю, – так было и сделано; коза была здорова. Алексей Абрамович ее очень любил, давал ей собственноручно черный хлеб, ласкал ее, но это не помешало ей выкормить ребенка. Образ жизни Алексея Абрамовича был такой же, как и в первый приезд; он его выдержал около двух лет, но далее не мог. Совершенное отсутствие всякой определенной деятельности невыносимо для человека. Животное полагает, что все его дело – жить, а человек жизнь принимает только за возможность что-нибудь делать. Хотя Негров с двенадцати часов утра и до двенадцати ночи не бывал дома, но все же скука мучила его; на этот раз ему и в деревню не хотелось; долго владела им хандра, и он чаще обыкновенного давал отеческие уроки своему камердинеру и реже бывал в комнате окнами на двор. Однажды, воротившись домой, он был в необыкновенном состоянии духа, чем-то занят, то морщил лоб, то улыбался, долго ходил по комнате и вдруг остановился с решительным видом. Заметно было, что дело внутри кончено. Кончив внутри, он свистнул, – свистнул так, что спавший в другой комнате на стуле казачок от испуга бросился в противоположную сторону от двери и насилу после сыскал. «Спишь все, щенок, – сказал ему генерал, но не тем громовым голосом, после которого сыпались отеческие молнии, а так, просто. – Поди скажи Мишке, чтоб завтра чем свет сходил к немцу-каретнику и привел бы его ко мне к восьми часам, да непременно привел бы». Видно было, что камень свалился с плеч Алексея Абрамовича, и он мог спокойно опочить. На другой день, в восемь часов утра, явился каретник-немец, а в десять окончилась конференция, в которой с большою отчетливостью и подробностью заказана была четвероместная карета, кузов мордоре-фонсе²⁰, гербы золотые, сукно пунцовое, басон кокликко²¹, парадные кóзлы о трех чехлах.

Четвероместная карета значила ни более ни менее как то, что Алексей Абрамович намерен жениться. Намерение это вскоре обнаружилось недвусмысленными признаками. После каретника он позвал своего камердинера. В длинной и довольно нескладной речи (что служит к большой чести Негрова, ибо в этой нескладности отразилось что-то вроде того, что у людей называется совестью) он изъявил ему свое благоволение за его службу и намерение наградить его примерным образом. Камердинер понять не мог, куда это идет, кланялся и говорил учтивости вроде: «Кому ж нам и угождать, как не вашему превосходительству; вы наши отцы, мы ваши дети». Комедия эта надоела Негрову, и он в кратких, но выразительных словах объявил камердинеру, что он позволяет ему жениться на Дуньке. Камердинер был человек умный и сметливый, и хотя его очень поразила нежданная милость господина, но в два мига он расчел все шансы *pro* и *contra*²² и попросил у него поцеловать ручку за милость и неоставление: нареченный жених понял, в чем дело; однако ж, думал он, не совсем же

²⁰ Темно-коричневого цвета с металлическим оттенком (от *фр.* *mordoré foncé*).

²¹ Цвета красного мака (*фр.*).

²² «За» и «против» (*лат.*).

в немилость посылают Авдотью Емельяновну, коли за меня отдадут: я человек близкий, да и баринов нрав знаю; да и жену иметь такую красивую недурно. Словом, жених был доволен. Дуня удивилась, когда ей сказали, что она невеста, поплакала, погрустила, но, имея в виду или ехать в деревню к отцу, или быть женою камердинера, решила на последнее. Она без содрогания не могла вздумать, как бывшие ее подруги будут над ней смеяться; она вспомнила, что и во времена ее силы и славы они ее называли вполслуха *полубарыней*. Через неделю их обвенчали.

Когда, на другое утро, молодые пришли с конфетами на поклон, Негров был весел, подарил новобрачным сто рублей и сказал повару, случившемуся тут: «Учись, осел, люблю наказывать, люблю и жаловать: служил хорошо, и ему хорошо». Повар отвечал: «Слушаю, ваше превосходительство», но на лице его было написано: «Ведь я же тебя надуваю при всякой покупке, а уж тебе меня не провести; дурака нашел!» Вечером камердинер давал пир, от которого вся дворня двое суток пахла водкой, и, точно, он расходов не пожалел. Была, впрочем, мучительно горькая минута для бедной Дуни: маленькую кроватку, а с нею и дочь ее велели перенести в людскую. Дуня безмерно любила малютку всей простой, безыскусственной душой. Алексея Абрамовича она боялась – остальные в доме боялись ее, хотя она никогда никому не сделала вреда; обреченная томному гаремному заключению, она всю потребность любви, все требования на жизнь сосредоточила в ребенке; неразвитая подавленная душа ее была хороша; она, безответная и робкая, не оскорблявшаяся никакими оскорблениями, не могла вынести одного – жестокого обращения Негрова с ребенком, когда тот чуть ему надоедал; она поднимала тогда голос, дрожащий не страхом, а гневом; она презирала в эти минуты Негрова, и Негров, как будто чувствуя свое унижительное положение, осыпал ее бранью и уходил, хлопнув дверью. Когда надобно было перенести кроватку, Дуня заперла дверь и, рыдая, бросилась на колени перед иконой, схватила ручонку дочери и крестила ее. «Молись, – говорила она, – молись, мое сокровище, идем мы с тобою мыкать горе; Пресвятая Богородица, заступись за ребенка малого, ни в чем не виноватого... А я-то, глупая, думала: вырастет она, моя сердечная, будет ездить в карете да ходить в шелковых платьях; из-за двери в щелочку посмотрела бы на тебя тогда; спряталась бы от тебя, мой ангел, – что тебе за мать крестьянка!.. А теперь вырастешь ты не на радость себе: сделают тебя, пожалуй, прачкой новой барыни, и ручки-то твои мылом объест... Господи Боже мой! Чем пред тобой согрешил младенец?..» И Дуня, рыдая, бросилась на пол; сердце ее раздиралось на части; испуганная малютка уцепилась за нее руками, плакала и смотрела на нее такими глазами, как будто все понимала... Через час кроватка была в людской, и Алексей Абрамович приказал камердинеру приучать ребенка называть себя «тятей».

Но кто же счастливая избранная? В Москве есть особая *varietas*²³ рода человеческого; мы говорим о тех полубогатых дворянских домах, которых обитатели совершенно сошли со сцены и скромно проживают целыми поколениями по разным переулкам; однообразный порядок и какое-то затаенное озлобление против всего нового составляет главный характер обитателей этих домов, глубоко стоящих на дворе, с покривившимися колоннами и нечистыми сенями; они воображают себя представителями нашего национального быта, потому что им «квас нужен, как воздух», потому что они в санях ездят, как в карете, берут за собой двух лакеев и целый год живут на запасах, привозимых из Пензы и Симбирска. В одном из таких домов жила графиня Мавра Ильинишна. Некогда она кружилась в вихре аристократии, была кокетка, хороша собой, была при дворе, любезничала с Кантемиром, и он писал ей в альбом силлабическим размером мадригал, «сиречь виршную хвалебницу», в которой один стих оканчивался словами: «богиня Минерва», а другой рифмующий стих – словами: «толь протерва». Но от природы чрезвычайно холодная и надменная своей красотой, она отказы-

²³ Разновидность (*лат.*).

вала женихам, ожидая какой-то блестящей партии. Между тем отец ее умер, а брат, управлявший нераздельным имением, лет в десять пропил и проиграл почти все достояние. Столичная жизнь стала слишком дорога; надобно было жить скромнее. Когда графиня вполне поняла затруднительное положение свое, ей было за тридцать лет, и она разом открыла две ужасные вещи: состояние расстроено, а молодость миновала. Тут она сделала несколько отчаянных попыток выйти замуж – они не удались; тогда, запрятав страшную злобу внутри своей груди, она переселилась в Москву, говоря, что ей шум большого света опротивел и что она ищет одного покоя. Сначала в Москве ее носили на руках, считали за особенную рекомендацию на светское значение ездить к графине; но мало-помалу желчный язык ее и нестерпимая надменность отучили от ее дома почти всех. Брошенная, оставленная всеми, старая дева еще более исполнилась негодованием и ненавистью, окружила себя разными приживающимися старухами, полунабожными и полубродячими, собирала сплетни со всех концов города, ужасалась развратному веку и ставила себе в высокое достоинство свое бесконечное девство. Граф-братец, окончательно промотавший свое имение, для поправки состояния решился на геройский подвиг для того времени – женился на купеческой дочери, четыре года ежедневно упрекал ее происхождением, проиграл до копейки приданое, согнал ее со двора, опился и умер. Год спустя умерла и жена, оставив после себя пятилетнюю дочь без всякого состояния. Мавра Ильинишна взяла ее к себе на воспитание. Мудрено сказать, что побудило ее к этому: фамильная гордость, участие к ребенку или ненависть к брату, – как бы то ни было, жизнь маленькой девочки была некрасива: она была лишена всех радостей своего возраста, застрашена, запугана, притеснена. Эгоизм старух-девиц ужасен: он хочет выместить на всем окружающем пробелы, оставшиеся в их вымороженном сердце. Безотрадно и скучно подрастала маленькая графиня: по несчастию, она не принадлежала к тем натурам, которые развиваются от внешнего гнета, начав приходить в сознание, она нашла в себе два сильные чувства: непреодолимое желание внешних удовольствий и сильную ненависть к образу жизни тетки. Оба чувства были простительны. Мавра Ильинишна не только не доставляла племяннице никакого рассеяния, но убивала претщательно все удовольствия и невинные наслаждения, которые она сама находила; она думала, что жизнь молодой девушки только для того и назначена, чтоб читать ей вслух, когда она спит, и ходить за нею остальное время; она хотела поглотить всю юность ее, высосать все свежие соки души ее – в благодарность за воспитание, которого она ей не давала, но которым упрекала ее ежеминутно. Время шло. Графиня сделалась невестой, и весьма невестой, – ей было уж двадцать три года. Она чувствовала вполне тягостную скуку и однообразие своего положения, и все существо ее вертелось около одной мысли – вырваться из ада теткина дома. Могила казалась ей лучше; она пила уксус, чтоб получить чахотку, но он не помогал ей; она хотела идти в монастырь, но в ней не было довольно решимости. Вскоре мысли ее приняли другой оборот. Старинные французские романы, которые она, не знаю как, отрыла в теткинском гардеробе, пояснили ей, что есть, кроме смерти и монастыря, значительные утешения; она оставила Адамову голову и начала придумывать голову живую, с усами и кудрями. Тысячи романтических картин мучили ее и день и ночь; она сочиняла себе целые повести: он ее увозит, их преследуют, «любить им не велят», раздаются выстрелы... «Ты моя навеки!» – говорит он, сжимая пистолет, и проч.

На эту тему с бесчисленными вариациями сводились все мечты, все помыслы ее, все сновидения, и бедная с ужасом просыпалась каждое утро, видя, что никто ее не увозит, никто не говорит: «ты моя навеки», – и тяжело подымалась ее грудь, и слезы лились на ее подушки, и она с каким-то отчаянием пила, по приказу тетки, сыворотку и еще с большим – шнуровалась потом, зная, что некому любоваться на ее стан. Такое состояние духа не могло быть вполне побеждено сывороткой, а вело прямо к сентиментальности и экзальтации. Графиня начала покровительствовать всех горничных и прижимать к сердцу засаленных детей

кучера, – период, после которого девушке или тотчас надобно идти замуж, или начать нюхать табак, любить кошек и стриженных собачонок и не принадлежать ни к мужескому, ни к женскому полу. По счастью, на долю графини выпало первое. Она была недурна собой, и в эту именно эпоху должна была поразить нашего героя: *зовущее* всего существа ее, ее томные глаза, ее неровно подымающаяся грудь победили Негрова. Он увидел ее раз у Старого Вознесенья – и судьба его жизни была решена. Генерал вспомнил корнетские годы, начал искать всевозможных случаев увидеть графиню, ждал часы целые на паперти и несколько конфузился, когда из допотопной кареты, тащимой высокими тощими клячами, потерявшими способность умереть, вытаскивали два лакея старую графиню с видом вороны в чепчике и мешали выпрыгнуть молодой графине с видом центифольной²⁴ розы. У генерала была в Москве двоюродная сестра... У кого есть в Москве двоюродная сестра, оседлая и довольно богатая, тот может жениться почти на всякой невесте, если он имеет чин и деньги, а она не имеет еще жениха. Генерал вверил свою тайну кухне, – та приняла истинно сестринское участие. Месяца два бедная пропадала от скуки, и вдруг, как с неба, свалилось сватовство. Она тотчас послала дрожки за женой одного титулярного советника. Титулярная советница приехала; кухня выгнала из ближней комнаты горничных, чтоб никто не мог подслушать. Через час времени титулярная советница с покрасневшимся лицом выбежала от кухни и, наскоро рассказав в девичьей, в чем дело, бросилась со двора. На другой день, утром в девять часов, двоюродная сестра сердилась на неаккуратность титулярной советницы, которая хотела быть в одиннадцать часов и еще не приходила; наконец желанная гостья явилась, и с нею другая особа, в чепчике; словом, дело кипело с необычайною быстротою и с достоподобным порядком. У графини в доме начались исподволь важные перемены: с окон сняли сторы из равендука²⁵ и велели вымыть, замки было велено вычистить кирпичом с квасом (суррогат уксуса); в передней, где ужасно пахло кожей, оттого что четыре лакея шили подтяжки, выставили зимнюю раму. Оставленная всеми, Мавра Ильинишна была в восхищении, что за ее племянницу сватается генерал, да еще пребогатый; но, храня свое достоинство, она едва снизошла до позволения начать сватовство. Однажды утром графиня приказала племяннице одеться повнимательнее, открыть больше шею и сама осматривала ее с ног до головы.

– Да для чего это, татап, вы мне приказываете одеваться? Разве будут гости?

– Не твое дело, душечка, – отвечала графиня, но добрым, приветливым голосом.

Кисейное платье племянницы чуть не вспыхнуло от огня, пробежавшего по ее жилам; она догадывалась, подозревала, не смела верить, не смела не верить... она должна была выйти на воздух, чтоб не задохнуться. В сенях горничные донесли ей, что сегодня ждут генерала, что генерал этот сватается за нее... Вдруг въехала карета.

– Палашка, я умру, я умираю! – говорила молодая графиня.

– И, полноте, ваше сиятельство, кто ж умирает, когда сватаются, да еще такие женихи... Я вот всегда говорила: нашей графине быть за генералом, – извольте всех спросить.

Чье перо в состоянии описать все, что перечувствовала бедная девушка во время *показа* и *смотря!*.. Когда она несколько пришла в себя, первое, что поразило ее, – это фрак Алексея Абрамовича: она так твердо верила в его мундир и эполеты... Впрочем, Негров и без мундира мог тогда еще нравиться; хотя ему было под сорок, но, благодаря доброму здоровью, он сохранил себя удивительно, и, от природы не слишком речистый, он имел ту развязность, которую имеют все военные, особенно служившие в кавалерии; остальные недостатки, какие могла в нем открыть невеста, богато искупались прекрасными усами, щегольски отделанными на тот раз. Свадьба ладилась. Через неделю после смотра графиню

²⁴ Столестковской.

²⁵ Парусиновая ткань.

Мавру Ильинишну явились поздравлять ее знакомые, – люди, которые считались давно умершими, выползли из своих нор, где они лет тридцать упорно сражались с смертью и не сдались, где они лет тридцать капризничали и собирали деньги, хилые, разбитые параличом, с удушьем и глухотой. Графиня всем говорила одно: «Новость эта меня удивила не меньше вас; я и не думала свою Коко так рано отдавать замуж: дитя еще; ну да, батюшка, Божья воля! Человек он солидный и честный, отцом может служить ей: она так неопытна. А генеральство его и богатство – не важная вещь: и через золото слезы текут. Да и нечего сказать, я вкусила плод благочестивого воспитания моего (при этом она прикладывала к глазам платок); истинно, что делает воспитание! Можно ли было ждать от такого отца развращенного – Царство ему Небесное – и от купчихи такого детища? Не поверите: ведь она с ним четырех слов не молвила, а я только посоветовала, а она, моя голубушка, хоть бы слово против: если вам, татам, угодно, говорит, так я, говорит, охотно пойду, говорит...» – «Это истинно редкая девица в наш развращенный век!» – отвечали на разные манеры знакомые и друзья Мавры Ильинишны, и потом начинались сплетни и бессовестное чернение чужих репутаций. Словом, немного прошло времени, как к пышно убранной квартире цуг вороных лошадей привез в четвероместной карете мордоре-фонсе генерала Негрова, одетого в мундир с ментиком, и супругу его Глафиру Львовну Негрову, в венчальном платье из воздуха с лентами. Хор певчих, парадные шаферы, плошки, музыка, золото, блеск, духи встретили молодую; вся дворня стояла в сенях, добиваясь увидеть молодых, камердинерова жена в том числе; ее муж, как высший сановник передней, распорядился в кабинете и спальне. Такого богатства графиня никогда не видала вблизи, и все это ее, и сам генерал ее, – и молодая была счастлива от маленького пальца на ноге до конца длиннейшего волоса в косе: так или иначе, мечты ее сбылись.

Спустя несколько недель после свадьбы Глафира Львовна, цветущая, как развернувшийся кактус, в белом пеньюаре, обшитом широкими кружевами, наливала утром чай; супруг ее, в позолоченном халате из тармаламы²⁶ и с огромным янтарем в зубах, лежал на кушетке и думал, какую заказать коляску к Святой: желтую или синюю; хорошо бы желтую, однако и синюю недурно. Глафиру Львовну также что-то очень занимало; она забыла чайник и мечтательно склонила голову на руку; иногда румянец пробегал по ее щекам, иногда она показывала явное беспокойство. Наконец муж заметил необыкновенное расположение ее и сказал:

– Ты что-то не в духе, Глашенька; нездоровится, что ли, тебе?

– Нет, я здорова, – отвечала она и при этом подняла глаза к нему с видом человека, просящего помощи.

– Как хочешь, а что-нибудь да есть у тебя на уме.

Глафира Львовна встала, подошла к мужу, обняла его и сказала голосом трагической актрисы:

– Алексис, дай слово, что ты исполнишь мою просьбу!

Алексис начал удивляться.

– Посмотрим, посмотрим, – отвечал он.

– Нет, Алексис, поклянись исполнить мою просьбу могилой твоей матери.

Он вынул чубук изо рта и посмотрел на нее с изумлением.

– Глашенька, я не люблю таких дальних обходов; я солдат: что могу – сделаю, только скажи мне просто.

Она спрятала лицо на его груди и пропищала в слезах:

– Я все знаю, Алексис, и прощаю тебя. Я знаю, у тебя есть дочь, дочь преступной любви... я понимаю неопытность, пылкость юности (Любоньке было три года!..). Алексис,

²⁶ Плотная шелковая ткань.

она твоя, я ее видела: у ней твой нос, твой затылок... О, я ее люблю! Пусть она будет моей дочерью, позволь мне взять ее, воспитать... и дай мне слово, что не будешь мстить, преследовать тех, от кого я узнала. Друг мой, я обожаю твою дочь; позволь же, не отринь моей просьбы! – И слезы текли обильным ручьем по тармаламе халата.

Его превосходительство растерялся и сконфузился до высочайшей степени, и прежде нежели успел прийти в себя, жена вынудила его дать позволение и поклясться могилой матери, прахом отца, счастьем их будущих детей, именем их любви, что не возьмет назад своего позволения и не будет доискиваться, как она узнала. Разжалованная в дворовые, малютка снова была произведена в барышни, и кровать опять переехала в бельэтаж. Любоньку, которую сначала отучили отца звать отцом, начали отучать теперь звать мать – матерью, хотели ее вырастить в мысли, что Дуня – ее кормилица. Глафира Львовна сама купила в магазине на Кузнецком мосту детское платье, раздела Любоньку, как куклу, потом прижала ее к сердцу и заплакала. «Сиротка, – говорила она ей, – у тебя нет папаши, нет мамы, я тебе буду все... Папаша твой там!» – и она указала на небо. «Папа с крылышками», – пролепетал ребенок, – и Глафира Львовна вдвое заплакала, восклицая: «О, небесная простота!» А дело было очень просто: на потолке, по давнопрошедшей моде, был представлен амур, дрягавший ногами и крыльями и завязывавший какой-то бант у черного железного крюка, на котором висела люстра. Дуня была наверху счастья; она на Глафиру Львовну смотрела как на ангела; ее благодарность была без малейшей примеси какого бы то ни было неприязненного чувства; она даже не обижалась тем, что дочь отучали быть дочерью; она видела ее в кружевах, она видела ее в барских покоях – и только говорила: «Да отчего это моя Любонька уродилась такая хорошая, – кажись, ей и нельзя надеть другого платья; красавица будет!» Дуня обходила все монастыри и везде служила заздравные молебны о доброй барыне.

Многие сочтут экс-графиню героиней. Я полагаю, что ее поступок сам в себе был величайшею необдуманностью, – по крайней мере, равною необдуманности выйти замуж за человека, о котором она только и знала, что он мужчина и генерал. Причина – очевидно, романическая экзальтация, предпочитающая всему на свете трагические сцены, самопожертвования, натянуто благородные поступки. Справедливость требует присовокупить, что Глафира Львовна не имела при этом никакой хитрой мысли, ни даже тщеславия; она сама не знала, для чего она хотела воспитывать Любоньку: ей нравилась патетическая сторона этого дела. Алексей Абрамович, позволив однажды, нашел очень естественным странное положение ребенка и не дал даже себе труда подумать, хорошо или худо он сделал, согласившись на это... В самом деле, хорошо или худо он сделал? Можно многое сказать и «за» и «против». Кто считает высшей целью жизни человеческой развитие, во что бы оно ни стало, какие бы оно последствия ни привело, – тот будет со стороны Глафиры Львовны. Кто считает высшей целью жизни счастье, довольство, в каком бы кругу оно ни было и насчет чего бы оно ни досталось, – тот будет против нее. Любонька в людской если б и узнала со временем о своем рождении, понятия ее были бы так тесны, душа спала бы таким непробудимым сном, что из этого ничего бы не вышло; вероятно, Алексей Абрамович, чтобы вполне примириться с совестью, дал бы ей отпускную и, может быть, тысячу-другую приданого; она была бы при своих понятиях чрезвычайно счастлива, вышла бы замуж за купца третьей гильдии, носила бы шелковый платок на макушке, пила бы по двенадцати чашек цветочного чая и народила бы целую семью купчиков; иногда приходила бы она в гости к дворечихе Негрова и видела бы с удовольствием, как на нее с завистью смотрят ее бывшие подруги. Так она могла бы прожить до ста лет и надеяться, что сто извозчицких дрожек проводят ее на Ваганьковское кладбище. Любонька в гостинной – совсем иное дело: как бы глупо ее ни воспитывали, она получала возможность образоваться; самая даль от грубых понятий людской – своего рода воспитание. С тем вместе она должна была понять всю несообразную нелепость своего положения; оскорбления, слезы, горести ждали ее в бельэтаже, и все это

вместе способствовало бы дальнейшему развитию духа, а может быть, с тем вместе, развитию чахотки. Итак, выбирайте сами, хорошо или худо сделала m-me Негров.

Брачная жизнь Алексея Абрамовича потекла как по маслу; на всех каретных гуляньях являлась его четверня и блестящий экипаж и пышущая счастьем чета в этом экипаже. Их наверное можно было встретить и в Сокольниках 1 мая, и в Дворцовом саду в Вознесенье, и на Пресненских прудах в Духов день, и на Тверском бульваре почти всякий день. Зимой ездили они в собрание, давали обеды, имели абонированную ложу. Но страшное однообразие убивает московские гулянья: как было в прошлом году, так в нынешнем и в будущем; как тогда с вами встретился толстый купец в великолепном кафтане с чернозубой женой, увешанной всякими драгоценными камнями, так и нынче непременно встретится – только кафтан постарше, борода побелее, зубы у жены почернее, – а все встретится; как тогда встретился хват с убийственными усами и в шутовском сюртуке, так и нынче встретится, несколько исхудалый; как тогда водили на гулянье подагрика, покрытого нюхательным табаком, так и нынче его поведут... От одного этого можно запереться у себя в комнате. Алексей Абрамович был человек выносливый, однако силы человеческие сочтены: дольше десяти лет он не мог протянуть, надоело и ему и Глаше. В это десятилетие у них родились сын и дочь, и они начали тяжелеть не по дням, а по часам; одеваться не хотелось им больше, и они начали делаться домоседами и, не знаю, как и для чего, а полагаю – больше для всесовершеннейшего покоя, решились ехать на житье в деревню. Это случилось года четыре прежде ученого разговора генерала с Дмитрием Яковлевичем.

III. Биография Дмитрия Яковлевича

Разумеется, биография бедного молодого человека не может иметь той занимательности, как биография Алексея Абрамовича с домочадцами. Мы должны из мира карет мордоре-фонсе перейти в мир, где заботятся о завтрашней обеде, из Москвы переехать в дальний губернский город, да и в нем не останавливаться на единственной мощеной улице, по которой иногда можно ездить и на которой живет аристократия, а удалиться в один из немощеных переулков, по которым почти никогда нельзя ни ходить, ни ездить, и там отыскать почерневший, перекосившийся домик о трех окнах, – домик уездного лекаря Круциферского, скромно стоящий между почерневшими и перекосившимися своими товарищами. Все эти домики скоро развалятся, заместятся новыми, и никто об них не помянет; а между тем во всех них развивалась жизнь, кипели страсти, поколения сменялись поколениями, и обо всех этих существованиях столько же известно, сколько о диких в Австралии, как будто они человечеством оставлены вне закона и не признаны им. Но вот домик, который мы искали. В нем лет тридцать жил добрый, честный старик с своей женою. Жизнь его была постоянно битвою со всевозможными нуждами и лишениями; правда, он вышел довольно победоносно, то есть не умер с голода, не застрелился с отчаяния, но победа досталась не даром: в пятьдесят лет он был и сед, и худ, и морщины покрыли его лицо, а природа одарила его богатым запасом сил и здоровья. Не бурные порывы, не страсти, не грозные перевороты источили это тело и придали ему вид преждевременной дряхлости, а непрерывная, тяжелая, мелкая, оскорбительная борьба с нуждою, дума о завтрашнем дне, жизнь, проведенная в недостатках и заботах. В этих низменных сферах общественной жизни душа вянет, сохнет в вечном беспокойстве, забывает о том, что у нее есть крылья, и, вечно наклоненная к земле, не подымает взора к солнцу. Жизнь лекаря Круциферского была огромным продолжительным геройским подвигом на неосвященном попроще, награда – насущный хлеб в настоящем и надежда не иметь его в будущем. Он учился на казенный счет в Московском университете и, выпущенный лекарем, прежде назначения женился на немке, дочери какого-то провизора; приданое ее, сверх доброй и самоотверженной души, сверх любви, которую

она, по немецкому обычаю, сохранила на всю жизнь, состояло из нескольких платьев, пропитанных запахом розового масла с ребарбаром. Страстно влюбленному студенту в голову не приходило, что он не имеет права ни на любовь, ни на семейное счастье, что и для этих прав есть свой ценз, вроде французского электорального²⁷ ценза. Через несколько дней после свадьбы его назначили полковым лекарем в действующую армию. Восемь лет номадной²⁸ жизни вынес он; на девятый устал и начал просить постоянного места, – ему дали одну из открывшихся вакансий. И Круциферский потащился с женой и детьми с одного края России в другой и поселился в губернском городе NN. Сначала он имел кой-какую практику. Хотя сановники и помещики в губернских городах предпочитают лечиться у немцев, но, по счастью, немца (кроме часовщика) под рукой не находилось. Это был счастливейший период жизни Круциферского; тогда он купил свой домик о трех окнах, а Маргарита Карловна сюрпризом мужу, ко дню Иакова, брата Господня, ночью обила старый диван и кресла ситцем, купленным на деньги, собранные по копейке. Ситец был превосходный; на диване Авраам три раза изгонял Агарь с Измаилом на пол, а Сарра грозилась²⁹; на креслах с правой стороны были ноги Авраама, Агари, Измаила и Сарры, а с левой – их головы. Но эта счастливая эпоха не долго продолжалась. Один богатый помещик, село которого было под самым городом, привез с собою домового доктора, отбившего всю практику у Круциферского. Молодой доктор был мастер лечить женские болезни; пациентки были от него без ума; лечил он от всего пиявками и красноречиво доказывал, что не только все болезни – воспаление, но и жизнь есть не что иное, как воспаление материи; о Круциферском он отзывался с убийственным снисхождением; словом, он вошел в моду. Весь город шил ему по канве подушки и кисеты, сувениры и сюрпризы, а о старом лекаре старались забыть. Правда, купцы и духовные остались верными Круциферскому, но купцы никогда не бывали больны, всегда, слава Богу, здоровы, а когда и случалось прихворнуть, то по собственному усмотрению терлись и мазались в бане всякой дрянью – скипидаром, дегтем, муравьиным спиртом – и всегда выздоравливали – или умирали через несколько дней. В обоих случаях Круциферскому не приходилось ничего делать, а смерть падала на его счет, и молодой доктор всякий раз говорил дамам: «Странная вещь, ведь Яков Иванович очень хорошо знает свое дело, а как не догадался употребить *t-rae opii Sydenhamii* капель X, *solutum in aqua distillata*³⁰, да не поставил под ложечку сорок пять пиявок; ведь человек-то бы был жив». Слыша латинские слова, сама губернаторша верила, что человек бы был жив. И так, мало-помалу, Круциферский был сведен на одно жалованье: оно состояло, кажется, из четырехсот рублей; у него было пять человек детей; жизнь становилась тяжелее и тяжелее. Яков Иванович не знал, как прокормиться; скарлатина указала ему выход: трое из детей умерли друг за другом, остались старшая дочь и меньшой сын. Мальчик, кажется, избежал смерти и болезни своею чрезвычайною слабостью: он родился преждевременно и был не более, как жив; слабый, худой, хилый и нервный, он иногда бывал не болен, но никогда не был здоров. Несчастья этого ребенка начались прежде его рождения. В то время как Маргарита Карловна была тяжела им, над ними готово было разразиться ужасное несчастье. Губернатор возненавидел Круциферского за *то, что он не дал свидетельства о естественной смерти засеченному кучеру одного помещика*³¹. Яков Иванович был на вершок от гибели и с какой-то кроткой, геройской грустью, молча и самоотверженно ждал страшного удара, – удар прошел мимо головы его.

²⁷ Избирательного.

²⁸ Кочевой (от *gr. nomas* – кочевники).

²⁹ ...на диване Авраам три раза изгонял. – Рисунки на сюжет из Библии, когда Авраам, после рождения законного сына, по требованию жены Сарры изгнал свою рабыню-наложницу и рожденного от нее сына Измаила.

³⁰ Сиденгемовой настойки опия капель 10, разведенные в дистиллированной воде (*лат.*).

³¹ Эти строки были выпущены цензурой. (*Примеч. А. И. Герцена.*)

В это тревожное время непрерывных слез родился Митя, единственный наказанный в деле о найденном теле кучера. Дитя это было идолом Маргариты Карловны; чем болезненнее, чем слабее оно казалось, тем упорнее хотела мать сохранить его; она, кажется, делилась с ним своей силой, любовь оживляла его и исторгала его у смерти. Она будто чувствовала, что он останется у них один, – опора, надежда, утешение. А что же случилось с его сестрой? Ей было лет семнадцать, когда в NN стоял пехотный полк; когда он ушел, ушла и лекарская дочь с каким-то подпоручиком; через год писала она из Киева, просила прощенья и благословения и извещала, что подпоручик женился на ней, через год еще писала она из Кишинева, что муж ее оставил, что она с ребенком в крайности. Отец послал ей двадцать пять рублей. После этого не было об ней и вести. Когда Митя подрос, его отдали в гимназию; он учился хорошо; вечно застенчивый, кроткий и тихий, он был даже любим инспектором, который считал не вовсе сообразным с своей должностью любить детей. Отец хотел после курса записать его в канцелярию гражданского губернатора, в чем ему обещал протезировать секретарь, у которого он лечил безвозмездно детей, вечно золотушных. Вдруг Мите открылась другая дорога. Какой-то меценат и тайный советник проезжал по городу NN, отправляясь из деревни в Москву³². *Директор гимназии, имевший талант узнавать явно приближение тайных советников, тотчас отправился просить удостоительной чести посещения вертограда³³ и рассадника отечественного просвещения. Меценату не хотелось, но он любил радушные приемы и с тем вместе почтительные. Директор, в мундире и подерживая шляпой шагу, объяснил меценату подробно, отчего сени сыры и лестница покривилась (хотя меценату до этого дела не было); ученики были развернуты правильной колонной; учителя, сильно причесанные и с крепко повязанными галстуками, озабоченно ходили, глазами показывали что-то ученикам и сторожу, всего менее потерявшемуся. Учитель физики просил позволения его превосходительства убить кролика под колпаком пневматической машины и голубя лейденской банкой. Меценат просил их пощадить, причем директор, тронутый, посмотрел на всех учителей и на всех учеников, как бы говоря: «Величие всегда сопровождается кротостью». Голубь и кролик после этого жили в залавке у сторожа до самого акта, когда неумолимый учитель все-таки, к большому удовольствию всего города, принес их на жертву науке и образованию. Затем один из учеников вышел вперед, и учитель французского языка спросил его: «Не имеет ли он им что-нибудь сказать по поводу высокого посещения рассадника наук?» Ученик тотчас же начал на каком-то франко-церковном наречии: «Коман пувонн ну поверь анфан ремерсиерь лилюстрь визитерь»³⁴.*

Глядя по сторонам во время этой кельто-славянской речи, меценат обратил как-то внимание на болезненный и нежный вид Мити, подозвал его к себе, поговорил, приласкал. Директор сказал, что это отличнейший ученик, что он пошел бы далеко, но что отец его не имеет чем содержать его в Москве и проч. Меценат был меценат и сказал Мите, что через месяц или два поедет его управитель, что если его родители согласны, то он ему прикажет привезти Митю в Москву и велит дать ему уголок в своем флигеле вместе с детьми управляющего. Директор послал тотчас письмоводителя за Яковом Ивановичем. Яков Иванович застал мецената, уже садящегося в дормез. Старик был истинно тронут, плакал, как дитя, и простым языком, нескладным и прерывистым, благодарил его. Меценат указал на плечистого мужчину, помогавшего застегивать какие-то ремешки у кареты, и сказал: «Это мой управляющий, он повезет вашего сына», – сказал и уехал, милостиво улыбнувшись. Через месяц кибитка с бубенчиками выехала из ворот Круциферского, и в ней сидел Митя, покры-

³² Эти строки были выпущены цензурой. (Примеч. А. И. Герцена.)

³³ Сад.

³⁴ Как нам, бедным детям, отблагодарить знаменитого посетителя (от фр. comment pouvons-nous pauvres enfants remercier l'illustre visiteur).

тый одеялом, увязанный и одетый матерью, и приказчик – в одном сюртуке, потому что он в пути предпочитал нагреваться изнутри. И вот от чего зависит судьба человека! Если б меценат не проезжал через город NN, Митя поступил бы в канцелярию, и рассказа нашего не было бы, а был бы Митя со временем старший помощник правителя дел, и кормил бы он своих стариков Бог знает какими доходами, – и отдохнули бы Яков Иванович и Маргарита Карловна. Отъезд Мити был переломом жизни стариков: они остались одни; тишина, грусть еще более овладели их домиком. Управляющий мецената, человек не слабонервный, почувствовал что-то вроде слез, когда старики расставались с сыном. Бедный отец прощается не так, как богатый; он говорил сыну: «Иди, друг мой, ищи себе хлеба; я более для тебя ничего не могу сделать; пролагай свою дорогу и вспоминай нас!» И увидятся ли они, найдет ли он себе хлеб – все покрыто черной, тяжелой завесой... Хочет отец дать сыну на дорогу побольше, и нет возможности; он десять раз рассчитывает, сколько можно уделить из наличных восьмидесяти рублей, и все ему кажется мало. А мать сколько слез прольет над убогим узелком, в который она положила необходимейшие свои вещи, но понимает, что всего недостает, и знает, что негде взять... Это сцены, никому не известные, мещанские, скрываемые тщательно от постороннего глаза, но вопиющие и раздирающие сердце! Хорошо, что они скрыты!

Молодой Круциферский через четыре года сделался кандидатом. Не одаренный ни особенно блестящими способностями, ни чрезвычайной быстротою соображения, он любовью к науке, постоянным прилежанием вполне заслужил полученную им степень. Глядя на его кроткое лицо, можно было подумать, что из него разовьется одно из милых германских существований, – существований тихих, благородных, счастливых в немножко ограниченной, но чрезвычайно трудолюбивой учено-педагогической деятельности, в немножко ограниченном семейном кругу, в котором через двадцать лет муж еще влюблен в жену, а жена еще краснеет от каждой двусмысленной шутки; это существование маленьких патриархальных городков в Германии, пасторских домиков, семинарских учителей, чистые, нравственные и незаметные вне своего круга... Но будто у нас возможна такая жизнь? Я решительно думаю, что нет; нашей душе не свойственна эта среда; она не может утолять жажду таким жиденьким винцом: она или гораздо выше этой жизни, или гораздо ниже, – но в обоих случаях шире. Сделавшись кандидатом, Круциферский сначала попытался получить место при университете; потом думал пробиться частными уроками, – но все попытки были напрасны: он унаследовал от отца удачу во всех предприятиях...

Через несколько месяцев после того, как при звуках литавр и труб было возвещено о кандидатстве Круциферского, он получил письмо от старика, извещавшее его о болезни матери и мимоходом намекавшее на тесные обстоятельства. Зная характер отца, он понял, что одна страшная крайность заставила его сделать такой намек. Последние деньги были прожиты Круциферским, одно средство оставалось: у него был патрон, профессор какой-то *гнозии*³⁵, принимавший в нем сердечное участие; он написал к нему письмо открыто, благородно, трогательно и просил займы сто пятьдесят рублей. Профессор отвечал учтивейшим образом, тронулся запиской, но денег не прислал; в *postscriptum*'е³⁶ ученый муж упрекал самым милым образом Круциферского, что он не приходит никогда к нему обедать. Записка поразила молодого человека, – так мало знал он цену людям или, лучше сказать, деньгам! Ему было очень тяжело; он бросил милую записку доброго профессора на стол, прошелся раза два по комнатке и, совершенно уничтоженный горестью, бросился на свою кровать; слезы потихоньку скатывались со щек его; ему так живо представлялась убогая комната и в ней его мать, страждущая, слабая, может быть, умирающая, – возле старик, печальный и

³⁵ От греческого «познание».

³⁶ Приписке (*лат.*).

убитый. Больной хочется чего-нибудь, хочется, – но она скрывает, чтоб не увеличить горести мужа, а тот догадывается и тоже скрывает, боясь, что придется отказать ей... Читатель, если вы богаты или, по крайней мере, *обеспечены*, – принесемте глубокую благодарность Небу, и да здравствует полученное нами наследство! да здравствует родовое и благоприобретенное!

В эту тяжелую минуту для кандидата отворилась дверь его комнатки, и какая-то фигура, явным образом не столичная, вошла, снимая темный картуз с огромным козырьком. Козырек этот бросал тень на здоровое, краснощекое и веселое лицо человека пожилых лет; черты его выражали эпикурейское спокойствие и добродушие. Он был в поношенном коричневом сюртуке с воротником, какого именно тогда не носили, с бамбуковой палкой в руках и, как мы сказали, с видом решительного провинциала.

– Вы господин Круциферский, кандидат здешнего университета?

– Я, – отвечал Дмитрий Яковлевич, – к вашим услугам.

– А вот, господин кандидат, позвольте мне сперва сесть; я постарше вас, да и пришел пешком.

С этими словами он хотел было сесть на стул, на котором висел вицмундирный фрак; но оказалось, что этот стул может только выносить тяжесть фрака без человека, а не человека в сюртуке. Круциферский, сконфузившись, просил его поместиться на кровать, а сам взял другой (и последний) стул.

– Я, – начал посетитель с убийственной медленностью, – инспектор врачебной управы NN, доктор медицины Крупов, и пришел к вам вот по какому делу...

Инспектор был человек методический, остановился, вынул большую табакерку, положил ее возле себя, потом вынул красный платок и положил его возле табакерки, потом белый платок, которым обтер себе пот, и, нюхая табак, продолжал таким образом:



– Вчерашнего числа я был у Антона Фердинандовича... мы с ним одного выпуска... нет, извините, он вышел годом ранее... да, годом ранее, точно, – все же были товарищи и остались добрыми знакомыми. Вот-с я и прошу его, не может ли он мне указать хорошего учителя в отъезд-де, в нашу губернию, кондиции³⁷, мол, такие и такие, и вот, мол, требует то и то. Антонат Фердинандович и дал мне ваш адрес и, признаюсь, очень лестно отзывался об вас; а потому, если вы желаете иметь кондицию в отъезд, то я мог бы с вами дело покончить.

Антон Фердинандович был именно профессор-патрон: он в самом деле любил Круциферского, но только не рисковал своими деньгами, как мы видели, – а рекомендацию всегда был готов дать.

³⁷ Условия.

Тяжелый доктор Крупов показался Круциферскому небесным посланником; он откровенно рассказал ему свое положение и заключил тем, что ему выбора нет, что он обязан принять место. Крупов вытащил из кармана что-то среднее между бумажником и чемоданом и вынул письмо, покоившееся в обществе кривых ножниц, ланцетов и зондов, и прочел: «Предложите таковому 2000 рублей в год и никак не более 2500, потому что за 3000 рублей у моего соседа живет француз из Швейцарии. Особая комната, утром чай, прислуга и мытье белья, как обыкновенно. Обедать за столом».

Круциферский не делал никаких требований, краснея говорил о деньгах, расспрашивал о занятиях и откровенно сознавался, что боится смертельно вступить в посторонний дом, жить у чужих людей. Крупов был тронут, уговаривал его не бояться Негровых... «Ведь вам с ними не детей крестить; будете учить мальчика, а с отцом, с матерью видаться за обедом. Генерал денежно вас не обидит, за это я вам отвечаю; жена его вечно спит, – стало, и она вас не обидит, разве во сне. Дом Негрова, поверьте мне, не хуже... признаться, и не лучше всех помещичьих домов». Словом, торг сладился: Круциферский шел внаем за 2500 рублей в год. Инспектор был обленившийся в провинциальной жизни человек, но, однако, человек. Узнав рядом горьких опытов, что все прекрасные мечты, великие слова остаются до поры до времени мечтами и словами, он поселился на веки веков в NN и мало-помалу научился говорить с расстановкой, носить два платка в кармане, один красный, другой белый. Ничто в мире не портит так человека, как жизнь в провинции. Но он не совсем еще вымер: в глазах его еще попрыгивали огоньки. Много встрепенулось в душе Крупова при виде благородного, чистого юноши; ему вспомнилось то время, когда он с Антоном Фердинандовичем мечтал сделать переворот в медицине, идти пешком в Геттинген... и он горько улыбнулся при этих воспоминаниях. Когда торг кончился, ему пришло в голову: «Хорошо ли я делаю, вталкивая этого юношу в глупую жизнь полустепного помещика?» Даже мысль дать ему своих денег и уговорить его не покидать Москвы пришла ему в голову; лет пятнадцать тому назад он так бы и сделал, но старыми руками ужасно трудно развязывать кошелек. «Судьба!» – подумал Крупов и утешился. Странно, что в этом случае он поступил точь-в-точь, как с древнейших времен поступает человечество: Наполеон говаривал, что судьба – слово, не имеющее смысла, – оттого-то оно так и утешительно.

– Итак, мы дело сладили, – сказал наконец инспектор после маленького молчания, – я еду через пять дней и буду очень рад, если вы разделите со мною тарантас.

IV. Житье-бытье

Давно известно, что человек везде может оклиматиться, в Лапландии и Сенегалии. Потому дивиться, собственно, нечему, что Круциферский мало-помалу начал привыкать к дому Негрова. Образ жизни, суждения, интересы этих людей сначала поражали его, потом он стал равнодушнее, хотя и был далек от примирения с такою жизнью. Странное дело: в доме Негрова ничего не было ни разительного, ни особенного; но свежему человеку, юноше, как-то неловко, трудно было дышать в нем. Пустота всесовершеннейшая, самая многосторонняя царила в почтенном семействе Алексея Абрамовича. Зачем эти люди вставали с постелей, зачем двигались, для чего жили – трудно было бы отвечать на эти вопросы. Впрочем, и нет нужды на них отвечать. Добрые люди эти жили потому, что родились, и продолжали жить по чувству самосохранения; какие тут цели да задние мысли... Это все из немецкой философии! Генерал вставал в 7 часов утра и тотчас появлялся в залу с толстым черешневым чубуком; вошедший незнакомец мог бы подумать, что проекты, соображения первой важности бродят у него в голове, так глубокомысленно курил он; но бродил один дым, и то не в голове, а около головы. Глубокомысленное курение продолжалось час. Алексей Абрамович все это время тихо ходил по зале, часто останавливаясь перед окном, в которое он

превнимательно всматривался, щурил глаза, морщил лоб, делал недовольную мину, даже кряхтел, но и это был такой же оптический обман, как задумчивость. Управитель должен был в это время стоять у дверей, рядом с казачком. Окончив куренье, Алексей Абрамович обращался к управителю, брал у него из рук рапортчку и начинал его ругать не на живот, а на смерть, присовокупляя всякий раз, что «конечно, что он его знает, что он умеет учить мошенников и для примера справедливости отдаст его сына в солдаты, а его заставит ходить за птицами!» Была ли это мера нравственной гигиены вроде ежедневных обливаний холодной водой, – мера, посредством которой он поддерживал страх и повиновение своих вассалов, или просто патриархальная привычка – в обоих случаях постоянство заслуживало похвалы. Управитель слушал отеческие наставления с безмолвным самоотвержением: слушать их казалось ему такою же существенною обязанностью, сопряженной с его должностью, как красть пшеницу и ячмень, сено и солому. «Ах ты разбойник! – кричал генерал. – Да тебя мало трех раз повесить!» – «Воля вашего превосходительства», – отвечал с величайшим спокойствием управитель и смотрел своими плутовскими глазами как-то косвенно вниз. Беседа эта продолжалась до появления детей здороваться; Алексей Абрамович протягивал им руку; с ними являлась миньютюрная *французженка*-мадам, которая как-то уничтожалась, уходя сама в себя, приседая à la Pompadour³⁸; она возвещала, что чай готов, и Алексей Абрамович отправлялся в диванную, где Глафира Львовна уже дожидалась его перед самоваром. Разговор обыкновенно начинался жалобой Глафиры Львовны на свое здоровье и на бессонницу; она чувствовала в правом виске непонятную, живую боль, которая переходила в затылок и в темя и не давала ей спать. Алексей Абрамович слушал бюллетень о здоровье супруги довольно равнодушно, потому ли, что он один во всем роде человеческом очень хорошо и основательно знал, что она ночью никогда не просыпается, или потому, что ясно видел, как эта хроническая болезнь полезна здоровью Глафиры Львовны, – не знаю. Зато Элиза Августовна приходила в ужас, жалела о страдальце и утешала ее тем, что и княгиня Р***, у которой она жила, и графиня М***, у которой она могла бы жить, если б хотела, точно так же страдают живою болью и называют ее *tic doulou-reux*³⁹. Во время чая приходил повар; благородная чета начинала заниматься заказом обеда и бранить за вчерашний, хотя блюда и были вынесены пусты. Повар имел то преимущество перед приказчиком, что его ежедневно бранил барин, как и приказчика, да, сверх того, бранила барыня. После чая Алексей Абрамович отправлялся по полям; несколько лет жив безвыездно в деревне, он не много успел в агрономии, нападал на мелкие беспорядки, пуще всего любил дисциплину и вид безусловной покорности. Воровство самое наглое совершалось почти перед глазами, и он большей частью не замечал, а когда замечал, то так неловко принимался за дело, что всякий раз оставался в дураках. Как настоящий глава и отец общины, он часто говаривал: «Вору спущу, мошеннику спущу, но уж дерзости не могу стерпеть», – в этом у него состоял патриархальный *point d'hon-neur*⁴⁰ Глафира Львовна, кроме чрезвычайных случаев, никогда не выходила из дома пешком, разумеется исключая старого сада, который от запущенности сделался хорошим и который начинался от самого балкона; даже собирать грибы ездила она всегда в коляске. Это делалось следующим образом. С вечера отдавался приказ старосте, чтоб собрать легион мальчишек и девчонок с кузовками, корзинками, плетушками и проч. Глафира Львовна с французженкой ехала шагом по просеке, а саранча босых, полуголых и полусытых детей, под предводительством старухи птичницы, барчонка и барышни, нападала на масленки, волвянки, сыроежки, рыжики, белые и всякие грибы. Гриб удивительной величины или чрезвычайной малости приносился птичницей к матушке-енеральше; им изволили

³⁸ Как мадам Помпадур (возлюбленная французского короля Людовика XV).

³⁹ Нервный тик (*фр.*).

⁴⁰ Вопрос чести (*фр.*).

любоваться и ехали далее. Возвратившись домой, она всякий раз жаловалась на усталость и ложилась уснуть перед обедом, употребив для восстановления сил какой-нибудь остаток вчерашнего ужина – барашка, телят, поенного одним молоком, индейку, кормленную грецкими орехами, или что-нибудь в этом роде, легкое и приятное. Между тем уж и Алексей Абрамович хватил горькой, закусил, *повторил* и отправился прогуляться в сад; он особенно в это время любил пройтись по саду и заняться оранжереей, расспрашивал обо всем садовникову жену, которая во всю жизнь не умела отличить груш от яблок, что не мешало ей иметь довольно приятную наружность. В это время, то есть часа за полтора до обеда, французенка занималась образованием детей. Что она им преподавала, как – это покрывалось непроницаемой тайной. Отец и мать были довольны: кто же имеет право мешаться в семейные дела после этого? – В два часа подавался обед. Каждое блюдо было достаточно, чтоб убить человека, привыкшего к европейской пище. Жир, жир и жир, едва смягчаемый капустой, луком и солеными грибами, перерабатывался, при помощи достаточного количества мадеры и портвейна, в упругое тело Алексея Абрамовича, в расплывшееся – Глафиры Львовны и в сморщившееся тельце, едва покрывавшее косточки Элизы Августовны. Кстати, Элиза Августовна не отставала от Алексея Абрамовича в употреблении мадеры (и заметим притом шаг вперед XIX века: в XVIII веке нанимавшейся мадаме не было бы предоставлено право пить вино за столом); она уверяла, что в ее родине (в Лозанне) у них был виноградник и она дома всегда вместо кваса пила мадеру из своих лоз и тогда еще привыкла к ней. После обеда генерал ложился на полчаса уснуть на кушетке в кабинете и спал гораздо долее, а Глафира Львовна отправлялась с мадамой в диванную. Мадам говорила непрерывно, и Глафира Львовна засыпала под ее бесконечные рассказы. Иногда, для разнообразия, Глафира Львовна посылала за женой сельского священника; та являлась, – какое-то дикое, несвязное существо, вечно испуганное и всего боящееся. Глафира Львовна целые часы проводила с ней и потом говорила мадаме: «Ah, comme elle est bête, insupportable!»⁴¹ И в самом деле, попадья была непроходимо глупа. Потом чай, потом ужин около десяти часов, после ужина семья начинала зевать всеми ртами. Глафира Львовна замечала, что в деревне надобно жить по-деревенски, то есть раньше ложиться спать, – и семья расходилась. В одиннадцать часов дом храпел от конюшни до чердака. Изредка наезжал какой-нибудь сосед – Негров под другой фамилией или старуха тетка, проживавшая в губернском городе и поврежденная на желании отдать дочерей замуж; тогда на миг порядок жизни изменялся; но гости уезжали – и все шло по-прежнему. Разумеется, что за всеми этими занятиями все еще оставалось довольно времени, которое не знали куда деть, особенно в ненастную осень, в долгие зимние вечера. Весь талант французенки был употребляем на то, чтоб конопатить эти дыры во времени. Надобно заметить, что ей было что порассказать. Она приехала в последние годы царствования покойной императрицы Екатерины портнихой при французской труппе; муж ее был *второй любовник*, но, по несчастью, климат Петербурга оказался для него губителен, особенно после того, как, оберегая с бóльшим усердием, чем нужно женатому человеку, одну из артисток труппы, он был гвардейским сержантом выброшен из окна второго этажа на улицу; вероятно, падая, он не взял достаточных предосторожностей от сырого воздуха, ибо с той минуты стал кашлять, кашлял месяца два, а потом перестал – по очень простой причине: потому что умер. Элиза Августовна овдовела именно в то время, когда муж всего нужнее, то есть лет в тридцать... поплакала, поплакала и пошла сначала в сестры милосердия к одному подагрику, а потом в воспитательницы дочери одного вдовца, очень высокого ростом, от него перешла к одной княгине и т. д., – всего не перескажешь. Довольно, что она умела чрезвычайно хорошо прилаживаться к нравам дома, в котором находилась, вкрадывалась в доверенность, делалась необходимой, исполняла тайные и явные поручения, хранила на

⁴¹ Ах, до чего она глупа, невыносимо! (фр.)

всех действиях какую-то печать клиентизма и унижения, уступала место, предупреждала желанья. Словом, чужие лестницы были для нее не круты, чужой хлеб не горек⁴². Она, хохотав и вязав чулок, жила себе беззаботно и припеваючи; ей, вечно втянутой во все маленькие истории, совершающиеся между девичьей и спальней, никогда не приходило в голову о жалком ее существовании. Итак, в скучное время Элиза Августовна тешила своими рассказами, тогда как Алексей Абрамович раскладывал гранпасьянс, а Глафира Львовна, ничего не делая, сидела на диване. Элиза Августовна знала тысячи походов и интриг о своих *благодетелях* (так она называла всех, у кого жила при детях); повествовала их она с значительными добавлениями и приписывая себе во всяком рассказе главную роль, худшую или лучшую – все равно. Алексей Абрамович еще с большим интересом, нежели его жена, слушал скандальные хроники воспитательницы своих детей и хохотал от всего сердца, находя, что это – клад, а не мадам. Почти так тянулся день за днем, а время проходило, напоминая себя иногда большими праздниками, постами, уменьшениями дней, увеличением дней, именинами и рожденьями, и Глафира Львовна, удивляясь, говорила: «Ах, Боже мой, ведь послезавтра Рождество, а кажется, давно ли выпал снег!»

⁴² ...чужие лестницы были для нее не круты, чужой хлеб не горек – скрытая цитата из «Божественной комедии» Данте: Ты будешь знать, Как горестен устам чужой ломоть, Как трудно на чужбине Сходить и восходить по ступеням.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.